СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІИ МИХАИЛА СИВАЧЕВА.

T

"ПРОКРУСТОВО

JOKE"

. Agold

С-ВО «СОВРЕМЕННЫЯ ПРОБЛЕМЫ»

	ADIJULA CTDIMITA	н провлемы". москва
	АВГУСТЪ СТРИНДБЕРГЪ. Полное собраніе сочиненій. 15 томовъ.	ЖОРЖЪ ЭКОУТЪ.
100	Тома	
	The state of the s	Подное собраніе сочиненій. 5 томов перев. съ француз., разрішен. авторов
	A MCHOREN PAYMEN DA	Тома
	2 Адъ. Романъ. Съ предислов. 1.— В. М. Финие.	
	В. М. Фриче. 2-е изданіе 1.	1 Изъ міра "Бывшихъ люден".
	3 На шхерахъ. Ром. 2-е изданіе 1 . — 4 Утопіи въ дъйствите и изд 1 . —	2 Нажила виобии п
	Веллы 2-е потемности. Но-	2 Нанда любви. Романъ
		Изъ отзывовь печати.
	жизни художн. и писателей. 1.25	«Жорка Экоуга я охотно вазваль б бельгійскимъ Горькимъ, настолько он разокь и мучисаьно правдивь въ св ихъ разсказахъ". Иванъ Жилькент
31	7 Готимения	разокъ и мучительно предпистолько он
1	7 Готическія комнаты. Романъ.	ить разсказахь". Ивань Жилькент
	2-е изданіе	БЬЕРНСТЬЕРНЕ-БЬЕРНСОНЪ.
	9 Историческія драмы	Собраніе сочиненій. 7 томовъ.
-	10 Трагиномедія брана. 2-е изд 1.25 годантичный пономара.	1 URITED STATES OF THE STATES
11	Разрыят Порфени	The state of the s
201	12 1) Легенды 2) г	1 1) CIONHÈME COMESSANION (TI
116		
113	Мастерь Улофъ. Драма. 1.25	2 1) Одинъ день 2) Виноградъ. 1.—
110	Самуна Одиночество.	Camoma 2) DONOCH ABOC-
1 1	б Черныя знамена. Ром. (печ.).	3 Рыбачна. Романъ
		4 Новобрачн. Леонарда Арне (печ.).
He	Переводъ произведеній Стриндберга, сомивано, обогатить русскить читате- й знакомствомъ съ яркимъ и своеобрав- пить талантомъ. Отриндбергъ всегда секъ его дарованія, чуждаго модильный то	
нь нь	В ЗНАКОМСТВОМЪ СЪ ЯРКИМЪ И СВОЗОБЕТЕ	"Для русскаго образованнаго общества
бле	ленъ и оригиналенъ. Наполь всегда по	оложительными тим
уло	рекь его дарованія, чуждаго модных до окасть даже тогда, когда датама.	же самы
Лан	жаеть даже тогда, когда читатель, по- менный тяжелыми картинами исста-	"Для русскаго образованнаго общества верисонъ особенно интересенъ своими ложительными типами, тс., какъ разъ- мъ, чего у насъ нъть. Тъм, чего наши же самые выдающеся писатели никакъ могуть совдать, несмотря на неъ свои аранія. Д. Городецкій (Р. Сл.).
A Day	еской пенхологія картинами патоло-	д. Городенкій, (Р. Сл.).
UBU	лимую потребность вырваться изъ	10MACT PADILI
coae	родани автора".	HULHOE COODSHIA COMPTONIA
L	VCTART - TON	
По	УСТАВЪ афъ-ГЕЙЕРСТАМЪ.	ЦВна.
-	Paris GO MHCHIM IA MONOR	полицан жаниния разы
Тома	Шфия. 2	Настоящая жениния Ре 1.25
1	Комедія брана Ромона в	
4		
9		ТОМАСЪ МАННЪ.
3	Роновыя силы. Романъ 1.— По Голова медузы. Романъ 1.25	OTHOR COOPSHIP COUNHERIN & MONOR
4	Голова медузы. Романъ 1.25 Тома 1) Въчная загадна. 2) может	
950	MIN CRAY TRO DOWN	THE RESERVE THE PROPERTY OF TH
5	мій Свенъ. Два романа 1.25 1 Власть женщины. Романь 1.— 2	Фіоренца. Фридеманъ Нажда
6	Darenia Cauck	
4	0 - 10	COMONICTRO FURNISHED
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Семейство Будденброоновъ. Ром. 1.25 Паденіе одной семьм. Романъ. 1.25
OTO	одинъ изъ самыхъ яркихъ, проница-	Гонанъ 1.25



МИХАИЛЪ СИВАЧЕВЪ.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ.

томъ первый.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "СОВРЕМЕННЫЯ ПРОБЛЕМЫ". МОСКВА—1911. C 64 28

МИХАИЛЪ СИВАЧЕВЪ.

"ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ"

(Записки литературнаго Макара).

КНИГА ПЕРВАЯ.

C-343

(CONTRIVENO)

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "СОВРЕМЕННЫЯ ПРОБЛЕМЫ", МОСКВА—1911.

БИБЛИОТЕКА в. и. ленина ор 55107

ОТЪ АВТОРА.

Знаю, что большинство людей, это люди— умьюще спокойно, даже съ улыбкой, съ пожатемъ плечъ проходитъ мимо самыхъ страшныхъ явленій, людей обладающихъ «похвальными» качествами ни передъ чъмъ ни останавливаться, ни содрогаться—и не къ такимъ обращены мои записки.

Имѣю въ виду читателя изъ тѣхъ, который «имѣетъ уши слышать, да слышитъ». Такого читателя я приглашаю заглянуть, что за пропасть отдъляетъ человѣка изъ народа отъ интеллигенціи: шесть лѣтъ я убилъ на попытки перекинуть черезъ эту пропасть мостикъ—и не могъ.

Шесть льть я смотрыль на людей, олицетворяющихь собой лучшій цвыть современной культуры, смотрыль, расплачиваясь за такую «честь» муками свыше человыческихь силь, смотрыль и, вь конечномы счеты, пришель къ заключенію, что весь этоть «лучшій цвыть» за страшно рыдкими исключеніями — банкроты духа!

Многое въ монхъ запискахъ съ перваго взгляда

покажется иногда, слишкомъ зло слишкомъ одиосторонне; но, милый читатель «изъ слышащихъ» когда вамъ такъ будетъ казаться, пытайтесь вообразить себя «въ моей шкуръ», суммируйте мои переживанія и мои положенія, памятуя о томъ, что капля переполняетъ чашу.

И считайте эти капли-сколько ихъ?

Прошу объ этомъ не для того, чтобы искать къ себѣ сочувствія; знаю горькую истину, что когда сочувствіе слишкомъ запаздываетъ, оно родить ненависть и злобу, а когда и отъ этихъ чувствъ человѣкъ устанетъ, оно даетъ только горечь, ибо такое сочувствіе не вернетъ человѣку его утратъ, не вернетъ его къ тому, что онъ въ себѣ имѣлъ, не вознаградитъ его за пережитый ужасъ.

Нътъ, я прошу считать эти капли для иной цъли. И если, считая, будете отъ этихъ капель задыхаться—не обманывайте себя тъмъ, что это, молъ, случилось только съ однимъ.

У насъ есть такія громкія слова, какъ «культура», «общественность» но...

Объ этомъ «но» я и хочу разсказать, ибо его переживали и будутъ переживать сотни и тысячи изъ тъхъ, кто вынужденъ искать куска хиъба, кто безъ борьбы не желаетъ поступиться своимъ правомъ на жизнь.

Какой «хлъбъ» и какую «жизнь» дасть имъ такая культура и общественность — объ этомъ пусть говорять мои записки:

Первоначально я началь было выпускать свои записки, называя въ нихъ всѣхъ полными именами. Но потомъ я получиль отъ одного, глубоко уважаемаго мной человѣка, совѣтъ, «исключить изъ записокъ все очень личное, все, что можетъ быть воспринято, какъ выраженіе личной злобы къ лицу». Я приняль этотъ совѣтъ и всѣ лица въ моихъ запискахъ пройдутъ или подъ вымышленными именами, или подъ иницалами, которыя даже не всегда точно будутъ обозначать начальныхъ буквъ настоящей фамиліи того или другого лица.

Исключеніе будеть для одного только М. Горькаго; но его скрыть нельзя и по техническимъ условіямъ, — слишкомъ большую роль онъ сыгралъ въ моихъ запискахъ, и слишкомъ крупно его имя, чтобы всякій его не могъ узнать.

Не нахожу такъ же и особыхъ причинъ, ради которыхъ 'его можно было бы скрыть: Горькій для меня «большой корабль», а большому кораблю и большое плаваніе.



1904 годъ.

Воть оно одно изъ наибольшихъ самопроклятій челов вчества: Капиталъ!

Къ 24 годамъ онъ изъ меня высосалъ все, что можно высосать, и выбросилъ изъ сферы труда вонъ, какъ негодную, вполнъ исполнивную свое назначение ветошь.

Пошелъ я въ больницу-не приняли:

— У насъ не богадъльня. Займете только мъсто. Поъзжайте въ Крымъ на грязи—тамъ такой ревматизмъ можно вылечить. Поняли?

Я поняль, что врачь не изъ умныхъ людей: знать, что больной изъ рабочаго класса, видѣть, что онъ крайне бѣдно одѣтъ и посылать въ Крымъ?!

Вмъсто Крыма я отправился на родину. Прибылъ и поселился въ наслъдственномъ домъ, дающимъ въ мъсяцъ 12 рублей дохода.

Измученный дорогой, придавленный сознаніемъ, что моя пѣсня спѣта, я въ первые дни отнесся къ своему положенію съ чувствомъ огромнаго облегченія—много спалъ, просыпался и, лежа съ закрытыми глазами, думалъ:

— Ну, что же... Плохо, бѣдно, но жить есть на что. Свой уголь—есть гдѣ умереть. Многимъ приходится доживать свой вѣкъ хуже.

Но, прошла недъля, другая—я глубже взглянуль въ свое положение и ужаснулся.

Однообразно и тяжко-томительно тянулись дни моего прозябанія.

Стояла скверная, дождливая осень. Вдовая сестра, поселившаяся со мной, вставала рано утромъ и уходила на работу. Иногда не приходила ночевать домой по два—три дня.

— За день - то умаешься, а путь до дому не-близкій.

Три раза въ день навертывалась баба, жена квартиранта, готовившая мит объдъ и самоваръ. Въ недълю, въ двт недъли разъ бывали у меня два брата, приходившіе исключительно затъмъ, чтобы поглумиться надъ моимъ несчастіемъ.

Моимъ убъжищемъ была маленькая избенка, уныло пучившая окна въ небольшой и чахлый садъ. При жизни отца онъ былъ цвътущимъ, красивымъ уголкомъ; послъ его смерти—заброшенный, медленно погибалъ,

По цълымъ днямъ я просиживалъ у окна, страдающій отъ мысли, что необъятность міра для меня ограничена только взглядомъ изъ этого окна, — на небольшой, безплодный кусокъ земли.

Подъ конецъ осени со мной стало твориться уже нѣчто неладное. Наблюдая, какъ вѣтеръ 10

рветь и треплеть засыхающія и уже засохшія деревья, я тихо-тихо говорилъ:

— Да, братъ, погибаемъ мы. Плохо намъ. Я говориль-усиліемъ воли подавляя въ себъ внезапныя приливы крика или хохота.

Все чаще и чаще бывали безсонныя ночи. Мучаясь отъ ревматическихъ болей, я съ нетеривніемъ ждаяъ, когда тусклый осенній разсвіть кисло заглянеть въ окна. Вставалъ и торопливо, точно сейчасъ увижу дорогого человъка, съ которымъ можно подълиться своимъ несчастиемъ, ковыляль къ окну

— Что же, брать, а? Въдь, такъ невозможно. Гибнемъ мы, но когда конецъ? А если такъ будемъ чаврить еще пять-десять лътъ? а?

Все еще одътый дымкой осенней мглы, садъ стояль безконечно печальный. И казалось, что ему холодно, что и онъ такъ же раздавленъ, какъ я, и недоумъваетъ: въ самомъ дълъ, когда же?

Прошла осень. Наступила зима. Ревматизмъ меня немного пріотпустилъ. Свое жилище я отоплялъ усердно, но безполезно: все выдувало... По цълымъ днямъ я валялся въ постели, кутаясь во все, чёмъ можно согрёться, и то съ тупой ненавистью смотръль на одинъ болье другихъ раздавшійся уголь избенки, изъ котораго торчали, опушенные ситгомъ, куски льда, то быль захвачень остро-волнующимь раздумьемь.

Я жилъ неподавимой тоской по образу чело-

въка, по тому образу, что въ лицъ человъка встрътилъ въ жизни однажды; обстоятельства съ этимъ человѣкомъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послъ знакомства заставили насъ утерять другь-друга изъ вида, но врезанся этотъ человъкъ въ меня, какъ фактъ, что не напрасно въ въ нашей душъ живутъ стремленія къ прекрасному.

прокрустово ложе.

Я припоминалъ этого человъка, я переживалъ мельчайшія подробности нашихъ встръчь н бестать, я учитываль, сколько скитаній по городамъ и весямъ Руси понадобилось, пока я столкнулся съ этимъ человъкомъ-я слишкомъ дорого заплатиль за счастье встрътить «нолноту личности» и нераскаивался.

Съ юныхъ лътъ я носилъ въ себъ наклонности: жить не твиъ, что меня окружаетъ, а твиъ, что внъ черты этой жизни. Отсюда, когда я выучился зарабатывать кусокъ хлюба, начались мои метанія: болье пяти-шести мъсяцевъ я не жилъ ни въ одномъ городъ.

Я пытливо вглядывался въ перемъну мъста, въ новыхъ людей и, когда убъжданся, что перемъна мъста есть, а новыхъ людей нътъ, что и туть все та же жалкая, несчастная жизнь, оть которой я бъту изъ города въ городъ-тогда я не въ силахъ былъ оставаться и бъжалъ, что называется «куда глаза глядять».

Эти скитанія были источникомъ мучительныхъ раздумій. Я пытался убить ихъ въ себъ фразой: «тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ»—тѣмъ, что вездѣ мнѣ говорила дѣйствительность. Но такъ до самой болѣзни съ мыслью, гдѣ-нибудь осѣсться прочно, не примирился. Болѣзнь приковала меня къ одному городу на годъ: работалъ въ одномъ хорошемъ заводѣ, гдѣ больного рабочаго не выкидываютъ, а даютъ возможность поправить пошатнувшееся здоровье. Тутъ я встрѣтился съ этимъ человѣкомъ, тутъ «административное усмотрѣніе» разбросило насъ въ разныя стороны, заставило утерять другъ-друга изъ вида.

Я снова было устроился на мѣсто, гдѣ могъ долечиться, но тоска, тоска страдающая по человѣку, тоска которая не въ силахъ переносить лицъ людишекъ, снова бросила меня на путь скитаній.

Я сознавалъ, что иду къ гибели, что болъзнь принимая хроническую форму лишитъ меня возможности существовать—и все таки метался изъ города въ городъ:

— Можеть быть, я еще встрѣчу такого человѣка!

Но такою я еще не встрътилъ, а къ положению выброшеннаго изъ жизни пришелъ. И не раскаявался, что такой цѣной въ страшнобезотрадной дѣйствительности я купилъ возможность видѣть одну только «жемчужину дѣйствительности». Я упивался этой жемчужиной и всѣмъ чающимъ высшей красоты въ подобномъ себѣ—мнѣ хотѣлось кричать изъ стѣнъ своей жалкой избенки:

— О, лелъйте, лелъйте золотыя грезы своей луши! Пусть онъ смутны, пусть вы не чувствуете въ дъйствительности отдаленнаго подобія своихъ грезъ, но върьте, постоянно върьте, что онъ есть, существують. Лелъйте золотыя грезы своей души, ибо только неустанно върующему и ищущему можеть выпасть великое счастіет увидъть то, о чемъ смутно грезилъ, въ образъ человъка!

Я упивался и это упоеніе толкало меня на несообразности. Я забываль, что изъ тьмы видённыхъ лицъ, я только въ одномъ лицъ видёлъ чудо, и создавалъ себъ иллюзіи. Вставалъ, одѣвался и шелъ къ воротамъ дома своего.

Окраина города. Тихія, пустынныя улицы. Мерзну, а жду, когда появится рѣдкій прохожій. Жаднымъ-жаднымъ взглядомъ вопьюсь въ его лицо: что онъ переживаетъ? а не увижу-ли хоть малѣйшую черточку, хоть тысячное отображеніе того лица-чуда?! *)

И вижу лицо тупое, порабощенное жизнью, злое и слъпо мстительное за свои обиды, лицо безъ черточки откровенія свободнаго человъка—я вижу раба своего Я, даже не помышляющаго о свободъ своего духа, и угрюмо ковыляю въсвою избенку.

Нераздъваясь, садился на постель и обхвативъ колъна руками, начиналъ покачиваться изъ стороны въ сторону.

^{*)} Къ этому лицу я въ своихъ запискахъ еще вернусь.

Я говориль себь, что я почти трупь, что мнь только 24 года, а я заброшень, никому не нужень, что я не выдержу агоніи, конца которой не вижу.

И то, что тянутся дни—дни безъ смысла и цъли, а я не могу набраться мужества оборвать ихъ, доводило меня до состоянія—выразить страданіе котораго у меня не было слокъ.

Я припоминаль ту бездну жути, какую усивль разглядьть въ жизни до 24 льть, плотнъе обхватываль кольна и раскачив лся—это меня спасало отъ крайности: казалось, что единственнымъ способомъ выраженія боли и скорби за ту дикую боль и скорбь, что именують «Жизнью», есть только одно: сидъть въ той позъ, въ какой сидъть я, и выть по звъриному.

Потомъ я къ своему положению сталь относиться спокойнъе. Старался теньше думать и началъ читать. Читая—мечталъ, что при другихъ условіяхъ и я, можетъ быть, былъ бы писателемъ. Въ раннемъ дътствъ страдалъ порокомъ стихоплетенія, въ бытность рабочимъ тоже по временамъ былъ одержимъ зудомъ: за станкомъ стоищь, а фантазія разыгрывается и тъщитъ: если это написалъ, пожалуй, будетъ интересно! Иногда и писалъ. Напишешь и бросишь. На время забудешь, а потомъ опять тоже. Но серьезно о писательстве никогда не думать; слиш-комъ великимъ деломъ казалось мне это.

И вотъ попадаются мнѣ біографія Горькаго; хвалебі ая титература ему.

Точно богь надеждъ поселился въ избенкъ моей. Трепетомъ восторга и гордости преисполнился я за Горькаго: изъ низинъ жизни—и такъ высоко?!

И впервые у меня появилась мысль, что образованіе для таланта необязательно.

Нѣсколько дней я колебался, а когда спросиль себя:

— Что, собственно я теряю, если у меня не окажется данныхъ?

Тогда у меня явилась бумага и чернила: я засъль за разсказъ!

Я писаль и непостижимой загадкой было для меня: какъ возможень такой подъемъ при моемъ состояни здоровья?

Коченъди отъ у тода руки—отогръваль ихъ на лампъ; обезображенная ревматизмомъ правая рука пеновиновалась перу, ныла каждымъ сочлененіемъ—свиръпо насиловалъ ее, чтобы выводила болъе четкій линіи письма.

Я работаль по 10-12 часовъ въ сутки, — снину разломить, боль въ плечахъ до невольныхъ при движеніи стойовъ, — но все это для меня было какъ что-то такое, что не со мной, а съ къмъ то другимъ, а у меня — дни летятъ, летятъ дин, полные свътлыхъ и радостныхъ мгновеній.

Разсказъ у меня занялъ около двухъ недъль. Счастливое, незабвенное время, котораго больше не переживешь: я творилъ съ не отравленной душой, я творилъ безъ яда сомиъній!

Отослалъ разсказъ въ «Ниву». Не было до этого въ моей жизни ничего, чтобы я ввърялъ человъку съ такой върой въ его благородство.

Частицу своей души я отосладъ и върилъ, что «тамъ» понимаютъ, съ чъмъ они имъютъ дъло.

Черезъ мъсяцъ я получилъ отвътъ: «Къ крайнему сожальнію редакціи, вашъ разсказъ помъстить не можемъ».

— Почему «къ крайнему сожалѣнію?»— это первое, что мнъ пришло въ голову.

Разсказъ былъ автобіографиченъ: вся мука человѣка моего положенія была въ немъ. Я не дерзаль надѣяться на обязательный пріемъ своей вещи—я ждалъ совѣта на свой вопросъ: писать мнѣ дальще или нѣтъ? И могь быть благодаренъ за слова:

— Продолжайте.

Или:

— Бросьте.

Отвѣты юмористическихъ журналовъ, гдѣ часто пошло изощряются въ остроумии, и тѣ мнѣ казались осмысленнѣе.

Но вѣдь, это не юмористическій журналь? Мучить мучающагося человѣка загадками— къ лицу-ли серьезному журналу? Я долго думалъ надъ отвътомъ и ръшилъ, что разсказъ не читался. И на другой день я отправилъ его обратно въ «Ниву» со слегка склеенными углами первыхъ страницъ.

Черезъ двъ недъли я получилъ его, — съ знакомымъ уже отвътомъ: «Къ крайнему сожалъню редакци, вашъ разсказъ помъстить не можемъ».

Провърилъ склейку страницъ: ни одна не тронута! Какая безсовъстная игра словами! Въдь, только люди совершенно не уважающіе слова, могутъ не читая вещи — писать: «Къ крайнему сожальнію». Я растопилъ печь, бросилъ въ нее свой разсказъ и, наблюдая, какъ огонь медленно пожиралъ страницы тетради, переживалъ мучительное чувство: мнъ казалось, что если бы послъ этого я увидълъ свое первое произведеніе въ печати, я не испыталъ бы того упоенія, какое должно испытать при мысли, что написанное тобой читается десятками тысячь людей.

Горъла частица моей души и негодовала душа моя:

— Не можете такъ поступать! Лжете вы, говоря, что искусство для васъ свято, если для васъ не святъ творецъ искусства. Дойти до того, чтобы забыть о томъ, что не камни вамъ шлются, значить вынимать душу изъ искусства. Святымъ мъстомъ и дъломъ не всякій жрецъ освящаетъ себя и въ почетныя тоги руководи-

18

телей общественной мысли облекаетесь не по заслугамъ. Не можете такъ поступать! *).

Когда отъ разсказа остались тонкіе, дрожащіе, точно въ агоніи, листки пепла-я даль себъ слово больше не писать.

— До чего доходить виртуозность въ пренебреженіи къ человъку. Не честнье-ли, если предложение подавляеть спросъ-заявлять о томъ, чтобы авторы присылками рукописей не трудились, чъмъ тъшить «крайними сожальніями»?

Недъли на двъ я вътхалъ въ апатію. Сестра приносила книги, журналы-не читалъ.

Стояла четвертая недъля великаго поста. Былъ праздничный день. На душъ было исключительно скверно-и хмуро я пожаловался сестръ:

— Чортъ знаетъ... живешь, какъ въ тюрьмъ. Света невидишь.

Сестра молча посмотръла на окна, вышла изъ избы, вернулась минуть черезъ пять и сказала;

— Чтожъ раньше молчалъ? Разъ безпоконтъдавно бы квартирантъ Федорычъ отгребъ снъгъ. Явился въ саду Федорычъ и началъ работать. Окна были завалены почти доверху. И когда

Федорычъ отбросиль отъ нихъ снъгъ – меня захватила волна восторга: снъть въ саду побуръль. тяжело осаживался, на деревьяхъ блестьли капельки воды, по сучьямъ бъсновались воробын, весь садъ былъ ярко залить солнечнымъ свътомъ. Жизнью пахнуло на меня такъ, точно я десятки латъ былъ заточенъ въ четырехъ станахъ; съ великой радостью я почувствовалъ, что все мое одряхлѣніе только внѣшнѣе, временноеотъ недуга и обстановки; остро я понялъ, что я къ 24 годамъ въ сущности очень юнъ, молодъ, не изжить.

— Ганя, Ганя, — кричалъ я: — Смотри: Солнце! Солнце! Понимаешь ты... Боже мой-Солнце! а? Сестра, придавленная суровой жизнью, мыслями о темной одинокой старости, посмотръла на меня съ недоумъніемъ:

- Чтожъ, солнце? Впервые его что-ль видищь? Такой вопросъ засталъ меня врасплохъ и я не зналъ, что мив отвътить. Да и думать надъ отвътомъ не хотълось-блаженно лепеталъ:
- Ну, да конечно... Нътъ, конечно, видълъи раньше, но, теперь оно какое то особенное.
 - Какое «особенное»? Какъ всегда.
 - Ну, иътъ! Вотъ и Федорычъ...

Я жадно смотрълъ на Федорыча и восхищался.

Ражій, сорокальтній мужикъ, съ краснымъ, какъ кумачъ, лицомъ, онъ былъ воплощениемъ здоровья и силы: выръзывая лоцатой тяжелые

^{*)} Въ данномъ случав по отношенію къ "Нивъ", я былъ не правъ: рукопись моя, какъ первые опыты, была, конечно, негодна. Но, далеко нелестныхъ словъ для редакцій я всетаки не беру назадъ, ибо и къ "годнымъ" рукописямъ редакціи относятся не лучіне,

квадраты снъга, онъ откидываль ихъ сажени за три-къ забору, какъ мячики.

— Ганя, какой онъ сильный! а? Такіе куски и такъ легко?!

Улыбаясь, сестра припомнила:

— Что Федорычъ, — развъ бы у тебя такая сила была въ его лъта, если бы не болъзнь? Помню: ты въ 14 лъть такъ снъгъ чистиль, какъ Федорычъ.

Слова сестры какъ то прошли мимо моего сознанія, но ея улыбка, улыбка состраданія и жалостн больно ръзанула меня: сразу улетучилось мое восторженное состояніе, вдругъ я почувствовалъ всю свою слабость, внезапно заныло болью все тъло.

Съ трудомъ я добранся до постели, легъ къ стънъ лицомъ, закрылъ глаза: хотълось подольше сохранить иллюзію восторга.

— Но свътило солнце, стояль сильный Федорычъ-но все это такъ далеко-далеко и не для меня: для меня близко, полошло вплотную и съ болью глубоко впилось въ меня-улыбка сестры.

Точно мив заживо пвли отходную.

Хот влось крикнуть:

— Пожалуйста, никогда такъ не улыбайся. Потомъ я задремаль и, когда очнулся -сестра

уже куда то ушла.

Но солнце, и Федорычъ съ этого дня вошли въ мою жизнь, какъ и вчто неотъемлемое, какъ живые протесты противъ моего медленнаго умиранія,

Стоитъ только закрыть глаза и вижу чудесное свѣтило, ражаго мужика, и твержу себѣ:

— Въ самомъ дѣлѣ, чтожъ я: одна неудача и уже руки опустились. Развъ это характеръ? Что за безволіе? Надо пытаться еще. Оть смерти не уйдешь, но и спѣшить къ ней не слѣдъ.

И иногда размышленія о смерти при мысли, что есть солнце и такіе прекрасные мужики, какъ Федорычъ, прерывались у меня смъхомъ: я смізялся надъ перспективой умереть въ 24 года, когда существують такіе ликующіе символы жизни, какъ солнце и Федорычъ.

Иногда спохватывался:

— Куда ужъ? Ерунда. Вст они тамъ, втроятно вродѣ «Нивы».

Да не надолго. Въ избенкъ уже посвътлъло; не видишь своего лица, а чувствуешь, что оно преобразилось; впадешь въ тихое раздумье и кажется, что кто-то невидимый, безъ границъ добрый и чуткій грустно и ласково манить къ себъ, открываеть даль прекрасную, гдъ всему, чёмъ больна душа твоя, грезится покой забвенія.

И самъ незамътишь, какъ сползешь съ постели, сядешь за столъ-и пишешь до тъхъ поръ, пока... не явится демонъ «Крайнихъ сожальній!» Онъ меня ссорилъ съ Вдохновеніемъ. Стоило явиться ему-я бросаль перо, прочитываль изъ написаннаго нъсколько строкъ-Боже мой: бытыно, блѣдно до отвращенія, безсодержательно до острой ненависти къ себъ!

Чувствоваль, какъ я опускаюсь, дълаюсь такимъ маленькимъ и ничтожнымъ—кажется, если кто нибудь сейчасъ войдеть въ мою избенку, я ему покажусь жалкимъ до слезъ. Потомъ отрывался отъ стола и тащился къ постели.

Въ это время я уже не зябъ и моя обычная одежда — былъ бълый халатъ. Онъ болгался на мнѣ, какъ на палкѣ, — до такой степени мнѣ казалось, — и это вызывало у меня приливъ ярости.

Я брезгливо въ это время ненавид'влъ себя; свое твло, а особенио ноги: хотвлось бить ихъ кулаками за то, что они у меня высохли, за то, что колъна безобразно изуродованы ревматизмомъ.

И ложился на постель со словами:

— Эхъ ты... горе писатель! *)

И еще двѣ попытки: написать два разсказа и посылаль въ «Русское Богатство» и «Журналь для всѣхъ».

Въ объ редакціи писаль одно и тоже: «Посылаю разсказъ только для того, чтобы имъть отъ компетентнаго лица совътъ: продолжать писать мнъ или нътъ? Нужно щадить человъка тамъ, гдъ это цълесообразно. Если моя вещь заслуживаетъ ръзкаго отзыва — не стъсняйтесь: за это я могу быть только благодаренъ. Мить нужна увъренность, что я пищу не безполезно, или сознаніе, что моя работа—работа Сизифа».

Отвъты изъ обоихъ журналовъ получились лаконические: «Ваша вещь не подходитъ».

Я недоумъвалъ: что же тамъ за люди?

Кажется ясно, какъ дважды два, чего я прошу.

Я мучился. Съ жадностью накинулся на литературу, изъ которой можно было бы уяснить себь, что же такое въ сущности литературный міръ?

Я слъно върилъ печатному слову и до этого—все, что мнъ попадалось въ это время,—все убъждало меня, что печатное слово для тъхъ, кто пишетъ, «Святая-святых» **)

Да и не можетъ быть иначе: вѣдь, какая великая отвѣтственность?!

Я жадно читаль и думаль, что Душа Искусства не можеть, какъ Христосъ, потериъть въ храмъ торгашей и фарисеевъ.

Я вполить повтрилъ священнику Г. Петрову, что «братья - писатели — это люди отмтченные перстомъ Божьимъ».

Братья—писатели... Боже мой, какой предста-

^{*)} Такъ, въроятно, только въ одной Россіи платятся за свои первые, неувъренные шаги. Ни гдъ такъ человъчно не умъютъ поддержать, какъ у насъ.

^{**)} Если бы тогда мнѣ кто нибудь сказаль, что въ литературъ не малое болото грубой лести, подхадимства, взаимной рекламы друзей-пріятелей—я отъ такого человъка отвернулся бы съ презрѣніемъ. Писатель, журналисть—это для меня были синонимы уважающаго себя благородства.

влялся чудный міръ: писатель — это огромное милосердіе, это великая чуткость, — явись къ нему, взглянеть на тебя и вся твоя душа будеть у него на виду, какъ на ладони.

Я вздыхалъ: да, только тамъ, въ мірѣ этихъ людей, жизнь, ничъмъ не загаженная низменнымъ, настоящая жизнь!

Все чаще и настойчивъе преслъдовала мысль: надо отнестись къ какому нибудь крупному писателю—онъ ръшитъ мою судьбу.

Но къ кому? Мечталось о Горькомъ: родной писатель! Но не зналъ, куда ему написать.

Къ Толстому? Страшно: какъ ни добръ казался по своимъ произведеніямъ — а «графъ» пугалъ.

Случайность рѣшила, что прежде обратился къ Толстому.

Не помню имени мыслеблуда, который довель до всеобщаго свъдънія, что Толстой до того «великій гуманисть»—шадить даже мышей.

— «Левъ Николаевичъ работаетъ. Съ нимъ его секретарь, Гусевъ. Разставлены мышеловки. Хлопъ! Хлопъ! — Сколько, — спрашиваетъ Толстой. — Теперь ужъ набралось къ десятку, — отвъчаетъ Гусевъ. — Чья очередь? — Ваша».

Толстой бросаеть работу, одвается, забираеть мышей и несеть ихъ въ лъсъ: гуляйте, молъ, тутъ, милые!

А лъсъ не близко: до него восемь верстъ; иногда приходится относить въ зимнее время по ночамъ.

Прочиталь я все это—и какътутъ не ръшить: пошлю ему?!

Дабы не отнимать много времени у великаго писателя, я ему послаль два очень маленькихъ разсказа; въ письмѣ я обрисоваль свое горькое положеніе и заключиль его: «Къ моимъ физическимъ мукамъ прибавились душевныя: я закваченъ силой, съ которой не въ состояніи бороться. Я мучаю себя, можеть быть, совершенно безплодно и очень прошу: просмотрите мои разсказы и, будьте добры, отвѣтить двумя словами: «Брось писать» или «Пиши еще».

Мнѣ отвѣтили черезъ нѣсколько дней.

«Мой отецъ, Левъ Николаевичъ, извиняется, что за недостаткомъ времени не можетъ исполнить Вашей просьбы. Готовая къ услугамъ Татьяна Сухотина».

Это меня. ощеломило до того: я запилъ.

Сидѣлъ въ своей избенкѣ за бутылкой водки и спрашивалъ себя:

— Человъкъ и мыши? Какъ совиъстить? а? На мышей есть время, на человъка нътъ?

А на слѣдующій день у меня, конечно, болѣла голова и ревматизмъ показалъ себя съ удвоенной силой.

Въ подавленномъ состоянии я написалъ Толстому письмо. Говорилъ, что очень сожалѣю, что у него не оказалось времени на просмотръ моихъ вещей, а въ заключение спрашивалъ: беру человъка, для котораго возможна еще жизнъ, воэможень трудъ, но нътъ собственных в средствъ подняться къ этому — долженъ-ли такой человъкъ безропотно умирать или вправъ надъяться на помощь людей? *)

До такой степени я вдругъ утратилъ увъренность въ неотъемлимости у человъка права на его существованіе!

Послаль я съ чувствомъ: отвъта не жди.

Върно: отвъта я не получилъ, но прождалъ его около мъсяца. Ежедневно я говорилъ себъ: запей горькую, безплодно ожидаешь.

И ежедневно переживалъ жуть, въ которую боялся заглядывать.

Коломъ въ головъ стояли вопросы:

— Развъ я прошу чего нибудь особеннаго? Не многаго прошу, —а не могъ добиться ни отъ редакцій, ни отъ прославленнаго писателя. Глъ же проповъдуемая любовь къ ближнему?

Во мнѣ протестовала какая то великая правда живою существа, въ которую я боялся вдумываться, уяснять себъ ее: чувствоваль я, что если потатнется эта правда—жизнь моя и жизнь вообще безъ этой правды будетъ ужасающей безсмысличей.

Безъ этой правды не къ чему жить и не станешь жить.

И мое страстное ожидание письма отъ Тол-

стого, то во что я не върилъ, но что ждалъ и говорилъ себъ: «Не надо дурно думать о человъкъ, пока въ этомъ вполнъ не убъжденъ»—было смутно связано съ этой правдой. Миъ казалось, что я, можетъ быть, такой дикарь, который не знаетъ какого-то важнаго соціальнаго закона. И напиши на мой вопросъ миъ Толстой, что «такой человъкъ не въ правъ разсчитывать на помощь»—до такой степени была велика моя подавленность, что я ему повърилъ бы безусловно. Толстой промолчалъ. Заданный ему вопросъ миъ пришлось ръщать самому.

Я его рышиль: запиль!

То, что обострялся ревматизмъ и усиливались боли, стало для меня второстепеннымъ. Главное—чаще и больше нужно пить. Ограниченныя собственныя средства удовлетворенія не давали и я сталъ искать собутыльниковъ. Въ этомъ недостатка не было. Я шелъ по линіи наименьшаго сопротивленія—легче было убивать себя физически, а когда появлялся протестъ правственнаго Я, что становилось все рѣже и рѣже, я запирался въ своей избенкѣ съ бутылкой водки.

— Куда льэть? И зачьмъ? Ты пытался просить—ничего; попробуй кричать — будетъ тоже самое. Никто не пойметъ. Никто не услышитъ. Все, что сказано прекраснаго въ мірь за человъка—ложь, самоукрашеніе. Что ты—не видълъ жизнь? Если все еще продолжалъ обманываться на другихъ, разубъди себя на себъ. Фактъ для

^{*)} Теперь, когда Левъ Николаевичъ однимъ рѣшительнымъ, великимъ шагомъ завершилъ свое ученіе—съ радостью беру всѣ заднія мысли относительно его обратно.

тебя только тотъ, что весь міръ для тебя въ твоихъ четырехъ стънахъ, а остальное - міръ прекрасныхъ иллюзій. Обжегся на этихъ иллюзіяхъ, значитъ, молчи! Оселъ! Надо понять, если Евангеліе не перевернуло жизни, кто можеть перевернуть? Почти двѣ тысячи лътъ пережевывають на всъ лады его истины. На учении Великаго Учителя ростугь, какъ грибы, учителя жизни, но отъ житницъ своихъ че откажутся: усердно съють и жнуть на нивъ Великаго ученія. Осель! Прими за истину, что всѣ истины для тебя — небесные звуки, свътлыя фикцін. Молчи, какъ молчатъ твои неизбъжныя, безгласныя спутницы-тоска и муки. Молчи и ни куда не лъзь, когда понимаешь такія чудовищныя противоръчія. Если ты попадещь въ тюрьму, какъ политическій д'вятель, — за тебя общественный протесть: «Насъ возвышающій обманъ!..» Люди вообще протестуютъ противъ того, противъ чего безсильны, гдѣ не могутъ помочь. Любятъ въ протестъ звукъ, ибо онъ ничего не стоитъ. Но, если у тебя тюрьма духа и тыла въ твоихъ четырехъ стънахъ-протестуй самъ и никто не услышитъ. Тебъ позволятъ... свободно позволять умирать! Молчи и никуда не лѣзь...

Теперь не передашь всей горечи, что приходила въ голову тогда.

Я пиль и пьянъя, тупъль. Бутылка мнъ начинала казаться, тупъль блескомъ свътится степло и ходъ монхъ мыслей въдомъ ему, то

такъ оно спокойно, такъ безстрастно, точно ему это давно все извъстно, надоъло.

Мик казалось это немного обидно, но добродушно я говорилъ:

— Понимаю тебя, посудина. Въ этомъ родъ для тебя ничего не ново. Все слышала милліоны разъ!

И бутылка такъ ласково, покорно и многозначительно поглядывала на меня, точно отвъчала:

— Что зря болтаешь? Кром'в скуки отъ этого ничего. Пей и все тутъ.

До дна я бутылки никогда осилить не могь. Въ блаженномъ состоянии забвенія и физическаго недуга и замирающей мысли, я долго слипающимися глазами смотрълъ на дно бутылки и, упиваясь тъмъ, что проснусь когда—есть еще что выпить, бесъдовалъ съ бутылкой.

Посижу, подумаю—чѣмъ то смутнымъ, далекимъ, и до смѣшного скучнымъ кажется собственная жизнь, и жизнь вообще—дотронусь до бутылки и говорю:

— Что видишь, что слышишь - хранишь, какъ могила. Это хорошо.

Почему «хорошо» — думаю надъ этимъ упорно, но опьян вшему сознанію это не подъ силу: кажется, что въ этомъ необыкновенная глубина.

И, какъ добираюсь до постели — этого послъ не помнилъ

Быстро потекли дни, недъли и мъсяца.

И не время уже властвовало надо мной, а я надъ временемъ. Съ гордымъ злорадствомъ я смъялся надъ силой времени:

— Ты для меня остановилось. Ты сметень меня съ лица земли, какъ сметаень все и всъхъно ты для меня остановилось.

То, что дни мои идуть безъ смысла, то что мнѣ время не дорого, то, что мнѣ не зачѣмъ заглядывать впередъ—все это создавало мнѣ понятіе абсолютно свободнаго отъ всего человѣка.

Иногда я съ утра до ночи бродилъ по зна-

И всюду жалобы на время:

Однихъ давить скукой, однообразіемъ, тъмъ, что жизнь не такъ сложилась, какъ хотълось; у другихъ все что-то не додълано, недостигнуто, «а время миштея»; третьи и на скуку не жаловались, и достигать ничего не хотъли—жили и трепетали, что за спиной времени идетъ и прячется смерть.

— Какъ страшно: день прожить—къ смерти ближе; какъ глупо: живешь и не знаешь, когда и отчего умрешь, особенно часто жаловалась мнъ одна дама.

Я наблюдаль всехть этихъ рабовъ времени, думаль, кто въ мірѣ не рабъ его, и сознаніе, что я освобождаюсь отъ его власти, было миъ пріятно.

Принила мн въ голову однажды мысль, что

и по знакомымъ я таскаюсь и нью затъмъ, чтобы обмануть себя:

— Попробуй-ка опять побыть одинъ и безъ бутылки—время покажетъ себя.

Я засълъ недъли на три дома и не пилъ. Было уже трудно, водка становилась потребностью организма, но я выдержалъ.

Пусто и холодно было на душѣ. Одиночество не томило, а то, что не ждешь и не хочешь отъ жизни ничего, создавало ощущение необычайной легкости.

Вырабатывалась философія отрицанія жизни. Я все ставиль подъ угломъ, что если не можешь жить сліно, то какое бы завидное положеніе въ жизни не иміль, ты все таки очень дорого заплатншь за свою жизнь.

Если ты не безъ совъсти, если чувствуещь, что право на жизнь другого нужно уважать не меньше, чъмъ свое—отравятся радости твои внутреннимъ зръніемъ твоимъ,

Я видълъ въ жизни, что она не что иное, какъ подвигъ, и спрашивалъ себя: во имя чего мнъ его принимать?

И отвъта не было. Ибо пошатнулась во мнъ великая правда живою существа *) и разумъ пересталь върить въ цълесообразность прекраснато: съ холоднымъ злорадствомъ онъ разбивалъ старыя цънности и торжествовалъ, что на мъ-

^{*)} Позже, когда я вполнъ уяснилъ себъ эту правдупе могу не крикнуть: духа не угашайте!

стъ былыхъ и ложныхъ самообмановъ и самоукрашеній вопаряется гордая, неуязвимая иронія надъ жизнью всего существующаго.

Когда меня спрашивали, какъ я живу, что переживаю отъ наличности хроническаго недуга—я усмъхался:

— Живу. А переживать, пожалуй, ничего не переживаю.

Не можеть быть. Въ такія молодыя лѣта ѝ такъ страдать... Неужели не думаете, какъ отъ болѣзни избавиться.

— Не думаю.

Мнѣ не вѣрили. А я не договаривалъ, что живу, пока не захочу умереть.

Была спокойная, возвышающая себя радость въ томъ, что все мое я— въ моемъ я. Внутреннее самоотреченіе достигло высоты, что въ каждый моментъ я совершенно спокойно могъ рѣшить свое «не быть», но отъ этого удерживало острое и темное любопытство: чудилось, что такое неестественное для живого существа безразличіе къ жизни и ея законамъ таитъ за собою какую-то страшную пустоту.

И жиль я только ради этого любопытства.

И вдругъ—рѣзкая перемѣна. Я столкнулся съ дѣвушкой, которая дала мнѣ понять, что моя сила не сила: отрицаніе жизни—безсиліе. Что побѣда человѣка не въ самоуничтоженіи, а въ самоутвержденіи. Я понялъ и вновь повѣрилъ въ старыя цѣнности свято и наивно, какъ ребенокъ.

Бросилъ пить и усердно принялся писать, не посылая своихъ вещей въ редакціи: не думалъ ужъ отъ нихъ получить того, что мнѣ было нужно.

Я писалъ, а надо мной глумились. «Навъщали» братья.

Одинъ смотрълъ, если заставалъ меня за писаніемъ, на мои рукописи и злорадно говорилъ:

— Все еще пишешь? Деньги на бумагу переводишь? Уменъ очень! Люди съ образованіемъ за 25 рублей въ мѣсяцъ служатъ, Христа ради просятся, — а писать не лѣзутъ. Кнутъ бы на тебя, чортъ тебя возьми, хорошій! — Что тебѣ? Живешь, жрешь готовый хлѣбъ. Работать надо. Тогда дурь въ голову не полѣзетъ.

Онъ видълъ мои обезображенныя ревматизмомъ руки и ноги, всю безпомощность въ передвиженіяхъ—и не върилъ въ то, что я не могу работать:

— Притворяется. Лѣнтяй—и больше ничего. Ходить не можетъ? Вретъ! Ожечь хорошенько кнутомъ: всю боль забудетъ, побѣжитъ, сволочь хромая!

Другой «братецъ» вѣрилъ, что я дѣйствительно боленъ и убѣждалъ:

— Что ты здѣсь лежишь? Шелъ бы ты въ богадѣльню. Кромѣ, какъ на казенный хлѣбъ, никуда не годишься.

Я въ богадъльню идти не желалъ. Тогда они однажды вмъсто меня получили съ квартиран-

товъ деньги и вернули мнъ ихъ, когда я имъ пригрозиять судомъ. Довести до суда то, что брата-калъку хотятъ вышвырнуть на улицу, они бы не постъснялись. Они посовътовались съ компетентными людьми и, когда имъ сказали, что при наличности семи наслъдниковъ на домъ, на всъ квартирныя деньги они не имъютъ права, что каждые изъ нихъ можетъ получить на свою долю только і рубль 71 коп., шзъ за такой суммы они ръшили скандала не поднимать.

Одинъ, впрочемъ, тотъ который не переваривалъ мысли о моемъ писательствъ, не прочь

быль и отъ этихъ денегъ.

— Съ какой стати онъ будетъ жрать мою долю? Рубль, семьдесять одна коптака тоже не щепки. Даромъ мнѣ ихъ никто не дастъ.

Другой убѣдилъ:

- Пусть его. Какъ то неловко. Самъ посуди: мы съ тобой люди здоровые, зарабатываемъ больше ста рублей въ мѣсяцъ. Не стоитъ судиться. Какъ ни какъ, а все таки братъ, не чужой. Отъ мирового и то будетъ совъстно, и скандаль на весь городъ. Не стоитъ.

Они до суда не довели, но и примириться съ тъмъ, что я буду пользоваться квартирными деньгами-не могли.

То по одиночкъ, то оба вмъстъ приходили и, то

мягко убѣждали:

— Продадимъ домъ? а? Что ты такъ лежишь? Тогда у тебя будутъ деньги полѣчиться. Вылечишься работать будешь, челов комъ опять станешь.

То грозили;

— А, не соглашаешься? Смотри: выкинемъ изъ дому и больше ничего. Домъ ремонта требуетъ, а ты его прожираешь. Что же мы получимъ съ него, когда онъ совствить развалится?

Когда я скитался по городамъ и весямъ Руси-деньги они получали, но ремонта не дълали.

Они, наконецъ, объщали:

— На насъ говоришь, что мы негодяи— самъ, негодяй. Чего упираешься? Продадимъ домъполучай свою долю, мы тебѣ по сотнъ дадимъ: на, лечись! Будь челов комъ и къ тебъ по челов вчески отнесутся.

Я смѣялся;

— Сотенъ отъ васъ не хочу: плакать о нихъ будете. Дайте мнъ лучше сейчасъ по рублю.

По рублю они не давали, а непремънно хотъли дать по сотнъ... когда будетъ проданъ домъ!

Потомъ и о «сотняхъ» замолчали, когда я предложилъ подтвердить документами, что съ доли каждаго изъ этихъ «братьевъ» я могу получить по сто рублей, но съ продажей дома не отставали.

Я не соглашался—они приходили въ ярость. Пошлость нагло торжествовала подъ моею безпомощностью.

— Мы дураки, — а ты уменъ. Мы тысячи сумели нажить и еще наживемъ, а ты что нажилъ? Добродяжился по бѣлу свѣту то, а теперь издыхай. *)

Другой быль болье радикалень. Онь совершенно не уясняль себь, что такое «соціалисть» и всякаго человька чуточку выше его сознанія, или не соглашающагося съ его человьконенавистническими взглядами на жизнь, причисляль къ сонму соціалистовь.

Я быль у него тоже въ числѣ таковыхъ. Съ дикой злобой онъ мнѣ преподносилъ:

— Издыхай. Издыхай! Не помогать такимъ надо, а въшать!

Приводило его въ ярость такъ же и то, что я у него никогда ничего не просилъ.

— Гордъ, сволочь? Брату не хочешь поклониться?

Я говорилъ, что глупо кланятся тому, кто все равно ничего не дастъ.

— Это вѣрно: собакѣ выброшу, а тебѣ не дамъ. Но врешь! придешь, калѣка, когда нибудь и поклонишься. На колѣняхъ будешь ползать. Врешь, когда нибудь, и придешь, явишься. А тогда то ужъ я тебѣ покажу!..

Этотъ «братъ» былъ не прочь бы со мной

расправится кулаками, если бы его не удерживало боязнь во мнѣ «соціалиста». Оба они въ сущности боялись меня, какъ человѣка, которому ничего не стоитъ разрушить ихъ благополучіе, ввергнуть ихъ въ пучину несчастій.

— Ему что—ему нечего терять. Ему ничего не стоитъ подстроить такъ, что вмѣстѣ съ нимъ въ тюрьмѣ очутишься.

Я писалъ, я бросилъ пить, но все болѣе и болѣе становился невыносимъ окружающій меня ужасъ.

И, наконецъ, я не выдержалъ: я прочелъ въ газетахъ, что М. Горькій въ Нижнемъ и согласился продать домъ. Его продали дешевле, чѣмъ онъ стоилъ: торопились братья продать изъ боязни, какъ бы я не раздумалъ продавать.

Бхалъ я въ Нижній съ деньгами, на которые можно прожить не болѣе трехъ мѣсяцевъ; ѣхалъ съ тяжестью, что теперь нѣтъ уже угла, куда бы въ случаѣ неудачи у Горькаго, можно было вернутся доживать свой вѣкъ; ѣхалъ съ великими надеждами:

— Нѣтъ, если у меня окажется дарованіе, Горькій поддержить! Такой человѣкъ!.. Онъ искаль проститутку, чтобы спасти ее *). Не можеть онъ забыть свою жизнь; не можеть забыть, что самого его поддержалъ Короленко.

Я ѣхалъ въ Нижній.

Бхалъ съ такими великими надеждами и лю-

^{*)} И этотъ же самый братъ на праздники и на свои имянины, или на имянины жены, старался затащить меня къ себъ: чтобъ я развлекъ его гостей, какъ умный человъкъ. Любителей поболтать такъ и интриговалъ: «Это что? Поговорите-ка съ моимъ братомъ! Умная голова, да жаль: больной».

^{*)} Разсказъ Горькаго «Однажды осенью».

38

бовью къ человѣку, котораго зналъ только еще, какъ писателя, составилъ себѣ представленіе о его личности по его книгамъ и, если бы въ это время мнѣ кто нибудь сказалъ: «Горькаго нѣтъ, Горькій скоропостижно умеръ»—я не могу представить себѣ, какъ бы это на мнѣ отразилось.

Онъ былъ единственнымъ человъкомъ, на котораго я возлагалъ надежды на свое спасеніе.

Братья-писатели, въ нашей судьбѣ, Что-то лежить роковое...

Некрасовъ.

По прітівдт въ Нижній, я остановился въ гостинницт и далъ себт два дня отдыхъ

Тихо и бездумно было на душѣ: испытывалъ огромное облегченіе, что та жизнь, которую я два года провлачилъ на родинѣ—уже оставлена позади и не повторится.

О томъ, что впереди—тоже не загадывалъ. Найдетъ нужнымъ Горькій поддержать меня благо мнѣ; нѣтъ,—значитъ,—надо умирать.

«Если убъдился, что ни къ какому дълу въ жизни сталъ непригоденъ—имъй мужество себя изъ жизни устранить».

И эта мысль была для меня такой аксіомой, надъ которой уже нечего задумываться.

На третій день я узналь въ одномъ книжномъ магазинъ адресъ Горькаго и отправился къ нему:

Путь быль не близкій, а я рышиль пойти пыкомъ.

Двигался я на своихъ недужныхъ ногахъ тихо-тихо—должно быть, не шибче черепахи. Обращалъ на себя своимъ шествіемъ вниманіе любопытныхъ. Это мнѣ было всегда непріятно: человѣка я въ этихъ взглядахъ не чувствовалъ, а тупое, эгоистичное животное, инстинктъ котораго трепещетъ только за себя: надо беречься, а не то и я отъ этого не застрахованъ.

Это въ лучшемъ случаѣ, а въ худшемъ— сколько во взглядахъ такихъ животныхъ обоего пола я прочиталъ низменныхъ утвержденій, что я не ревматикъ, а венерикъ, какую бездну отврашенія и брезгливости я видѣлъ по своему адресу отъ изящныхъ господъ и нарядныхъ дамъ.

На меня дъйствовало не то, что меня клеймять не за совершонный гръхъ, а то, что во всъхъ этихъ взглядахъ зажигалось опасеніе, что надо быть поосторожнъе и считаться съ «мърами предупрежденій».

— Если бы вы были и правы, то все таки какое вы, негодяи, имъете право смотръть на меня такъ, если не нынче, такъ завтра вы имъете всъ шансы встать на положеніе, которое вы умъете такъ великольпно обдавать отвращеніемъ и брезгливостью? Какое право, я васъ спрашиваю?—такъ многихъ и многихъ меня порывало спросить въ началъ своей бользни, потомъ такіе порывы улеглись—было только непріятно и

стыдно смотръть на тъхъ, кто смотритъ на меня.

И безусловно человъчнъе была нослъдняя категорія—рабочіе, и вся масса пришлаго изъ деревни и служащаго при городъ мелкаго люда.

Откровенно бросали мнѣ прямо въ лицо:

- Вотъ это такъ-здорово доходился!
- Что голубчикъ, получилъ?
- Эхъ, милый, теперь-то думаю, понимаешь, какъ «за мигъ свиданья, терпъть страданья?»

Много было въ такой откровенности добродушія и сочувствія, что вызывало у меня иногда благодарный смѣхъ, а то и словечко:

— Не ошибаешься.

Эти люди учитывали, что брезгать и презирать имъ не слѣдъ, когда съ ними можетъ быть тоже самое. Эти люди были умнѣе и человѣчнѣе изящныхъ господъ и дамъ!

Двигался я на своихъ недужныхъ ногахъ тихо-тихо были взгляды на меня, слышалисъ нъсколько разъ слова по моему адресу, но я отъ всего этого былъ очень далекъ.

Шель я къ большой душть и до мелкихъ-ли душь мнъ?

Шель и думаль, что повъдую ему недавно пережитый смрадь отрицанія жизни, что я скинуль со своей души эту страшную пелену—не видъть въ существованіи міра цълесообразности, что все мое Я теперь только въ томъ: слабъ и немощенъ я разумомъ, и свято увърую въ то;

что ты мнѣ скажешь большая душа, чему научишь! Жизнь я приняль, какъ подвигъ добровольный и радостный, крестъ жизни въ жисни счастьемъ нахожу нести,—благослови, большая душа, на пути указанныя тобою.

На 26 году жизни я впервые шелъ на великую исповъдь — и жизнь для меня послъ этой исповъди или смерть, — все это я отдалъ во власть духовника, облеченнаго въ Ризу Писателя.

Но вотъ и конецъ. Дошелъ. Угловой домъ и при немъ такой садъ—я даже остановился: въ двухъ шагахъ отъ центра города и такое великольпіе. «Недурно Горькому творить въ такой обстановкъ».

У вороть дома стояль какой-то человѣкъ на мой вопросъ, гдѣ квартира Горькаго, онъ указалъ мнѣ во дворъ на двухъ-этажынй флигель.

Отворила дверь горничная:

- Кого вамъ?
- Алексъя Максимовича.
- Его сейчасъ нѣтъ.
- А когда будетъ?
- Не знаю. Онъ теперь за-границей, а когда прівдетъ—неизвъстно.

Горничная, сильно хлопнувъ передъ моимъ носомъ дверью, давно уже исчезла, а я все еще стоялъ на одномъ и томъ же мъстъ. Тупо уперся въ дощечку на двери: «Дома нътъ»— и стою.

42

Какъ отошелъ, очутился на извозчикъ, пріъхаль въ гостинницу-все изъ памяти уплыло.

Въ корридоръ гостинницы поднесся слуга:

— Прикажете объдъ подать?

И попятился назадъ;

— Ла вы совствить больны! Можеть быть, доктора позвать?

Я отклонилъ и объдъ и доктора:

— Ничего, пустяки. Нервы у меня пошаливаютъ. Полежу-и пройдетъ.

Легъ и пролежалъ весь день, всю ночь. Заснуль только подъ утро. Следующій день у меня ушелъ на переъздъ изъ гостинницы въ комнату со столомъ: надо было экономить свой скудный ленежный запасъ.

Двѣ недѣли я переживалъ состояне растерянности. По цълымъ днямъ просиживалъ въ городскомъ саду, или на берегу Волги и думалъ:

— Какъ же мнъ теперь быть?

Погода стояла плохая, холодная, ръдкій день обходился безъ дождя. Ревматизмъ мучилъ меня безъ передышки-былъ постояннымъ напоминаніемъ моей безпомощности.

Острую жуть я переживаль отъ мысли, что этотъ городъ, въроятно, будетъ для меня могилой.

Раздавленный неудачей, своимъ недугомъ, я глазами одинокаго затравленнаго существа смотрълъ на жизнь города-и ликъ этого огром-

маго чудовища вселяль въ меня то страхъ, то злобу.

Съ большой завистью я наблюдалъ надъ босяками-здоровеннъйшія, но оскотинъвшія отъ наглости и лѣни, люди.

 Идіоты! Такіе здоровые лодыри и идіоты! Я жадно выискиваль въ бесъдахъ съ ними: гль же тоть высокій интеллекть, тоть свободолюбивый духъ, духъ бунтарей не принимающихъ существующаго, словомъ все то, что даль въ своихъ босякахъ Горькій?

Лично я видълъ, что это въ большинствъ искусившіеся тунеядцы; многіе изъ нихъ любили «позы протеста», —но жалки и лживы были въ моихъ глазахъ слова отброшенныхъ и отбросившихся отъ жизни людей, людей, которыхъ цѣлая армія!

И такъ, толкаясь по городу я однажды услышаль: «Къ ярмаркъ Горькій пріъдеть. Ярмарки не пропустить. А эту тымь паче: Шаляпинь прибудетъ!»

Я услышаль это на улиць, потомъ дома отъ козяйки, потомъ отъ нѣсколькихъ лицъ въ городскомъ саду, - начиналъ разговоръ съ чего нибудь отдаленнаго и сводилъ на одно:

— Ну, а ваша знаменитость-Горькій, на ярмаркѣ бываетъ?

У всфхъ увфренность:

— Ярмарки не пропустить. Гдв бы не быль, а на ярмарку прівдеть.

Я ожилъ. Ожилъ и безразсудно началъ тратить деньги: покупалъ книги.

Нельзя. Прівдеть Горькій—встрітимся, а я всіхть его сочиненій не читаль даже! Чего я знаю? Воть Леонидъ Андреевъ, Чириковъ, Купринъ, Чеховъ, все это товарищество «Знанія»—у меня ни объ одномъ опреділеннаго представленія о его физіономіи писателя! Надо больше читать. Надо хоть немного подготовиться.

Я подготовлялся: ускорялъ наступленіе еще болье горькихъ дней.

Я ожиль, поднялся и передь началомь ярмарки вновь упаль: справился уже въ домѣ Горькаго о его пріѣздѣ на ярмарку и получиль отъ какой то дамы отвѣть, что въ этомъ году онъ наврядъ-ли будеть въ Нижнемъ. Просиль его адресъ и этого не дали:

— Сами не знаемъ.

Послъднія деньги были уже отданы хозийкъ.

Отправился я въ редакцію одной газеты. И когда въ первый разъ въ своей жизни узрилъ редактора—внезапно смутился. Совалъ ему двъ тоненькія тетрадки, которыя мнѣ въ эти моменты показались жалкими до необычайности и краснѣя, и запинаясь просилъ:

— Просмотрите пожалуйста. И если подойдеть не откажите напечатать.

Отъ послѣдняго слова меня и въ жаръ и въ холодъ ударило: «Боже мой... напечатать?!.»

И глазами по сторонамъ покосилъ: вдругъ, кто нибудь услышитъ и... захохочетъ?!.

Привычнымъ, лѣниво-спокойнымъ и до оскорбленія небрежнымъ движеніемъ руки редакторъ взялъ мои тетради, раскрылъ одну изъ нихъ—зѣвнулъ и заявилъ;

— Почеркъ скверный. Трудно читать.

Я показалъ ему обезображенную ревматизмомъ руку:

— Не могу четко писать.

— А переписчики и пишущія машины на что?

— Простите, средствъ не имъю. Положение мое...

Я хотъть разсказать этому человъку свое положеніе—но онъ вновь устало зъвнулъ и оборвалъ:

— Да собственно, и читать то безполезно: матеріалу у меня пропасть.

Я еще заикнулся:

— Нельзя-ли сдѣлать исключеніе... положеніе безвыходное...

У него уже зазвучали раздраженныя нотки:

— Не могу. Не просите.

У меня вспыхнуль порывъ: врешь, не камень же ты, если совъсти твоей не коснусь, такъ можетъ быть, сознаніемъ чуточку учтешь, что передъ тобой не вещь, не дерево.

Но взглянулъ я на холодное, на смертельноскучающее и до безобразія уже жирѣющее липо редактора, взглянулъ на его крупно-сложенную фигуру, облеченную въ синюю косоворотку — взялъ свои тетради и тихо побрелъ къ выходу, думая:

- Не на своемъ мѣстѣ сидишѣ и людей косовороткой обманываешь.

У выхода я обернулся. Редакторъ глядълъ на меня—на то, какъ я нелъпо двигаю больными ногами и, на губахъ у него играла презрительная усмъшка: «тоже, писатель... И какая только шваль въ редакцю не лъзетъ!»

Черезъ часъ я былъ въ редакціи другой газеты.

Тутъ ужъ я не краснѣлъ, не запинался — я былъ, вѣроятно, похожъ на ребенка, у котораго разбиваютъ нѣчто ддя него дорогое, когда жаловался и просилъ:

— Вотъ, я только сейчасъ изъ редакціи «Н. Л.»; знаете, это первая редакція, порогъ которой я переступилъ—и я пораженъ... такое тамъ отношеніе... Даже не хотятъ смотръть. Можетъ быть, вы не откажете въ просмотръ?

Предо мной стоялъ франтоватый, выхоленный и юркій человічекъ и улыбался:

- Будьте увърены: мы просмотримъ, мы не откажемъ.
- Спасибо. Вотъ мои вещи. Просмотрите и, если подходящи, будьте человъчны, не откажите помъстить у себя.

Человъчекъ улыбался.

— Не откажемъ, не откажемъ... Но... за плату?

Откровенно, довърчиво я смотрълъ этому человъку въ глаза, въ лицо; что то въ этомъ лицъ и во взглядъ уже остерегало меня, настораживало, чудилось что то безконечно далекое отъ тъхъ прекрасныхъ образовъ, которые запечатлълись во мнъ о служителяхъ печатнаго слова по книгамъ, *) но сразу не могъ сорваться съ приня таго тона:

— Да, хоть за маленькую. Я и такъ бы от даль, если бы... видите, я больной человъкъ, въ этомъ городъ совершенно одинокъ. Пріъхалъ къ одному человъку, а его не оказалось. Черезъ недълю, черезъ двъ могу очутиться на улицъ.

И я даже улыбнулся:

- Вообще, положение хуже губернаторскаго. Зато человъчекъ пересталъ улыбаться:
- Не могу, матеріалу въ запасѣ много.

Я быль пораженъ: безъ платы не мѣшаетъ, а за плату—такъ запасъ матеріала великъ! И это сейчасъ же, безъ всякихъ переходовъ? Такъ беззастѣнчиво, такъ глупо?! А человѣчекъ выкинулъ трюкъ еще лучше:

— Я вамъ дамъ совътъ: посылайте свои разсказы въ одну газету; тамъ не возьмутъ — въ другую; въ другой тоже--такъ въ третью, и т. д. Такимъ образомъ, гдъ нибудь да устроитесь.

^{*)} О такихъ милыхъ, чудесныхъ людяхъ я читадъ: «о восьмидесятникахъ»—и глупо думалъ, что уже кто-кто, а «семья служителей печатнаго слова» не идетъ назадъ: все впередъ и впередъ!

Такимъ трюкомъ я на минуту былъ уже совершенно ощеломленъ; тупо глядълъ на редактора-издателя и сомнъвался: я, можетъ быть, не такъ понялъ, можетъ быть, въ чемъ нибудь ослышался?

Потомъ опомнился. Голосъ у меня сталъ острозвенящимъ:

- Спасибо за совътъ. Но позвольте вамъ замътить, что въ устахъ редактора газеты такой совътъ кажется мнъ дикъ.
 - Почему?

Онъ удивился совершенно искренно!

- Объяснять-ли? Сами не понимаете?
- Ей-Богу, не понимаю!
- Вы слышали, что я говорилъ?
- Великолѣпно.
- Такъ какъ же вы могли давать совътъ носылать куда-то человъку, который вамъ предварительно объяснилъ, что черезъ недълю-двъ у него не на что будетъ жить?

Онъ развелъ руками—съ такимъ изумительнымъ недоумъніемъ, точно я высказалъ ему какой то верхъ нелъпости. А потомъ пожалъ плечами.

— Мнѣ какое дѣло, что вамъ жить не на что. Я вамъ далъ совѣтъ, а остальное до меня не касается.

Я не далеко быль отъ состоянія, когда взбъшенный человѣкъ плачетъ, бьетъ кулаками объ столъ—но усиліемъ воли сдержался и сказалъ: — Очень мило! Но я вамъ въ свою очередь тоже дамъ совътъ: бросьте со столбцовъ своей газеты въщать истины, бросьте до тъхъ поръ, пока не научитесь одной: понимать жажду человъка дышать, видъть, жить, сознавать себя живой, одухотворенной единицей!

Редакторъ опѣшилъ; онъ моргалъ глазами такъ... лучше нельзя было выразить дополненія къ его совѣту!

Очевидно, силился понять «истину».

Потомъ опомнился и тихо прошипълъ:

- Я позову наборщиковъ и прикажу имъ отправить васъ въ полицію.
 - Зовите! Отправляйте!

Онъ медлилъ. Я не боялся угрозы въ лицѣ наборщиковъ и полиціи, но побоялся приступа состоянія невмѣняемости: чтобы видѣлъ слезы твои такой человѣкъ?!

И огромнымъ напряжениемъ воли заставилъ себя выйти изъ редакции.

Миновалъ одинъ домъ и присълъ на скамью у воротъ.

Улица плыла, прохожіе казались точками, голова кружилась до тупой мути отчаянія отъ словъ:

— Будьте человѣчны!.. Будьте человѣчны!..

Стояль предо мной и неотступно смотрѣль мнѣ въ дущу великій ужасъ земли, позорное самопроклятіе человѣчества: поруганное праздапленное право человѣка на жизнь!

У сколькихъ оно вырвало и вырветъ эти позорныя напоминанія: «Будьте человъчны?!»

Сколько сердецъ разметали и размечутъ бисера передъ свиньями: «Будьте человѣчны?!»

Послѣ этого прошла недѣля, а затѣмъ — я еще потерпѣлъ фіаско.

Сидълъ въ городскомъ саду и слышалъ, какъ два гимназиста горячо говорили объ отношеніяхъ писателя Ч. къ учащейся молодежи.

Очень ужъ чего нибудь утъщительнаго для себя я въ этихъ разговорахъ не видълъ; все сводилось къ тому, что тамъ то Ч. сказалъ то-то учащейся молодежи; въ другомъ мъстъ тоже «то-то» и т. д.

Я жадно слушаль: а не договорятся-ли до чего либо болье положительнаго для меня — до того, гдъ бы г. Ч. проявиль себя помимо «то-то» и на дълъ.

До этого не договорились. Но всетаки я узналь отъ поклонниковъ Ч. его адресъ и въ этотъ же день снесъ ему два разсказа.

Дома его не оказалось, но прислуга успокоила меня тѣмъ, что по болъзни матери, которая находится въ домѣ, онъ съ дачи навъдывается часто.

— Черезъ день, черезъ два обязательно бываетъ. Очень о больной матушкъ заботится.

При разсказахъ я приложилъ письмо, гдъ го-

ворилъ и о своей бользни, и о полномъ неимъніи средствъ къ жизни, и коротко заключилъ: «если найдете дароватіс, надъюсь, окажете и поддержку».

Поддержить или бть—на этоть счеть не гадаль: закрываль глаза на грядущее. Жиль одной только увъренностью: прочтеть, а тамъ увидимъ, что будетъ.

Я жилъ увъренностью, но увы — очень не долго: на другой же день я получилъ свои разсказы, присланныя съ дворникомъ, и при нихъ письмо супруги писателя.

«Мой мужъ, уѣхалъ, въ Самару провожать своего брата на войну. Да и вообще, онъ рукописей не читаетъ. Это дъло редакцій».

Я прочель и задумался: невъденіе-ли туть, или безсердечіе?

Потомъ на минуту мелькнула злая мысль: «Чтобы вы запъли, сударыня, если бы очутились на моемъ мъстъ и узнали, какъ редакціи читаютъ рукописи?»

Затъмъ наступила апатія, безразличіе полное. Часовъ въ 7 вечера сынъ хозяйки потащиль меня на берегъ Волги. Ъдемъ въ трамваѣ. На одной изъ остановокъ вошелъ въ вагонъ господинъ съ книгой въ рукахъ. Вощелъ и скромно усълся въ уголокъ. Сидитъ и глазъ не поднимаетъ, но лицо живетъ тонкой игрой.

— Знаете, кто это?—спрашиваеть меня сынъ хозяйки.

-- Кто?

— Это,—Ч. Писатель нашъ.

Гордо звучало это «нашъ».

— Вы ошибаетесь, — говорю я: — Я воть только сегодня утромъ получилъ письмо, гд в ми в пишуть, что Ч. увхалъ въ Самару.

— Ну, вотъ: еще бы ошибиться. Сколько явтъ

его знаю.

Можетъ быть, г. Ч. не былъ виноватъ ни душой ни тъломъ: только что вернулся изъ Самары и не знаетъ, что ъдетъ въ вагонъ съ неулачникомъ, котораго бъютъ со всъхъ сторонъ.

Можето быть, но уже побитый такъ чувствительно на первыхъ же шагахъ двумя редакціями, я, естественно, склоненъ былъ думать, что меня обманули: почему мнѣ прислуга не сказала, что онъ уѣхалъ въ Самару?

У меня кружилась голова: «Да, я сейчась подойду и спрошу: вы давали своей супругъ право расписываться за васъ, что «вообще, вы рукописей не читаете?» Вы давали такое право или иътъ?»

Я ожидаль остановки трамвая. Итти во время быстраго хода на своихъ ходуляхъ—это значило бы рисковать пошатнуться и повалиться на какого нибудь пассажира.

Воть и остановка. Я всталь. Но что это? Пока я всталь—Ч. уже вышель изъвагона и на моменть остановился на тротуаръ,—посмотръль въ одну сторону, въ другую, точно раздумываль, куда ему илти. А пока я вышель—онь уже пошель. Минуты три я гнался за нимъ. Разъ даже окликнулъ: г. Ч......! Онъ не слышалъ и не инъ было угнаться за его быстрой, легкой походкой.

Вскоръ онъ скрылся въ переулокъ. Я постоялъ-постоялъ и отравился домой.

Дома часа три старался избавиться оть нѣчто и не могъ. Лежалъ, то на спинѣ, то на бокахъ, то, наконецъ, внизъ лицомъ, но не при одномъ изъ этихъ положеній не могъ отръщиться отъ образа: все мнѣ видѣлось лицо писателя, которое въ вагонѣ разыгрывало симфонію эллегичной грусти.

И думалось:

— Скромница! Сидитъ и не смотритъ: ручки на книгъ сложены и глаза внизъ потуплены — барышня! Нечего смотръть, когда знаетъ, что всъ на него смотрятъ: «Нашъ писатель»! Упивается, а эллегіей подчеркиваетъ: «смотрите, какъ мы недурны». Ахъ, жизнь-жизнь: какая ты необъятная, чудовищная сцена!

Не суждено мит было спать въ эту ночь.

Къ 12 часамъ я уже совсѣмъ расхлябился. Бѣдные, литературные генералы! Живутъ и не знаютъ, какъ имъ иногда попадаетъ отъ мелкихъ, литературныхъ сошекъ. Можетъ быть, г. Ч. въ исторіи со мной былъ чище агица,—а я сѣлъ и закатилъ на бумагѣ такую истерику:

«Порываетъ дико выть, по звериному, прок-

линать—я молчу. Мнъ кажется, что стоить дать вырваться изъ груди хоть одному звуку-вой и проклятья польются безъ удержу. Плакать? Не умью-ньть слезь. Молиться? Кажется, что не имъещь въ себъ такой въры, когда бы молнтва не казалась ложью. О, этотъ видънный мной литературный генераль! Онъ первый изъ того невъдомаго мнъ міра и мое страстное стремленіе хоть сквозь строй идти въ этотъ невъдомый міръ, кажется мн теперь см шнымъ. Лживая мысль, неужели ты меня еще обманешь, какъ хочешъ обмануть сейчасъ, говоря, что по одному нельзя судить о всехъ. Ты лжешь: тотъ міръ, где есть одинъ недостойный, уже не святой міръ. Ты лжешь, говоря, что только литературный міръуголокъ, гдъ можно дышать чистымъ, ничъмъ неотравленнымъ воздухомъ! Душно: не хватаетъ благородства! Темно: меркнеть свъть. Больно, ибо было что то въ душъ великое, а теперь оно медленно-медленно разлагается, уступая мъсто пустоть. Мысль, ты лжешь-я съ ужасомъ чувствую, что когда это «что-то» разложится совсъмъ, въ душъ окажется безумная пустота, съ которой жить немыслимо, чудовищно. О, не уподобляйте всей благодати свътлаго Божьяго міра мерзости запуствнія, гдв одинокіе чувствують себя, точно человъкъ заблудившійся въ пустынѣ ночной и холодной!»

А потомъ я читалъ разсказы Ч. и другихъ. И то, что своихъ положительныхъ героевъ ав-

торы такъ щедро надъляють великодушіемъ своего Я,—успокоенія я искаль въ печатномъ словъ н находиль только горечь.

— Боже мой, какъ они на бумагѣ чутки, предусмотрительны, справедливы, а въ жизни... Вы рукописей, вообще, нечитаете? да? Позвольте! Вы должны читать. Обязаны читать. Если вы рукописей не будете читать—всѣ ваши прекрасныя слова тусклы и противны, какъ стертыя, загаженныя монеты. Если вы человѣку навязываете сотни книжныхъ истинъ и не дадите ему одной—голодному хлѣба, утопающему его спасенія,—онъ вправѣ думать, что вы его обманули и унизили. Онъ вправѣ васъ спросить: вы что же—учите, или только еще учитесь? *)

Я читалъ всю ночь напролеть и бросилъ, когда наступающее угро горъло въ зенить своей

красоты.

Я смотрѣлъ на розовѣющій воздухъ, на синѣющую даль: и словъ у этой дали не было, а звала къ чему то великому, прекрасному, какъсама.

— Природа! Природа, когда челов вчество научится понимать твой языкъ?!

А въ памяти ворочалась «даль въ словахъ», даль изъ стертыхъ и загаженныхъ монетъ—то

^{*)} Проблема, которую нашъ литературный міръ, еще никогда, какъ слѣдуетъ не думалъ рѣшать. Горькій, когла то коснулся этого — но такъ: походилъ «вокругъ-да около» и забылъ.

туманная, наводящая на одно только заключеніе, что челов'єкъ и самъ то хорошо не видить того, о чемъ говоритъ, но хочетъ ув'єрить другихъ, что это—красота, то жалко-безпомощная до того, куда и итти не стоитъ.

— А въдь, зовутъ. Зовутъ и нестъсняются: Поднимите брошенные, затоптанные великіе завъты Великаго Человъка, ибо прекраснъе Его вы ничего не сказали и не скажете; поднимите и примите ихъ полнотой совъсти, цълиной души и, только съ ними идите въ даль, и только съ ними зовите за собой: безъ нихъ вы лжете и толчетесь на мъстъ!

... блаженъ, кто ищетъ человѣка, ибо онъ узритъ... чело-вѣка нашего.

Я быль и раздавленъ, но «нѣчто» во мнѣ все еще чего-то хотъло и толкало меня на новые сюрпризы.

Написалъ я одной поэтессъ, которая помъщала свои стихи въ «В.»

Писалъ и думалъ: можетъ быть, женщина окажется почеловъчнъе.

Просилъ, не можетъ-ли она, какъ нибудь вызволить меня изъ бъды. Поэтесса отозвалась.

Она писала мнѣ, что сама сдѣлать ничего не можетъ, но даетъ мнѣ совѣтъ сходить къ одному присяжному-повѣренному, который, «какъ человѣкъ—онъ очень добрый; другъ-пріятель съ

однимъ крупнымъ издателемъ въ Нижнемъ; благодаря огромной практикъ-богатъ; состоитъ сотрудникомъ мъстныхъ газетъ».

Въ заключение увъренность: онъ васъ изъ бъды выручитъ.

Милая женщина, не забывайте никогда, что мужчины «очень добры» только къ хорошенькимъ женщинамъ, да еще съ плюсомъ, что такая женщина—поэтесса!

Къ четыремъ часамъ этого же дня я отправился «къ доброму человъку»

Адвокать быль занять съ кліентомъ и мит пришлось долго ждать.

У него богатая пріемная. А я одіть быль далеко не богато, а посему «натасканная» прислуга предложила мні ожидать въ передней, гдів даже не имітось стула.

Переминаясь на больныхъ ногахъ я стоялъ, заглядывалъ въ роскошную обстановку пріемной п спрашивалъ себя: зачѣмъ я пришелъ сюда?

Какъ не соблазнительно былъ расписанъ поэтессой адвокатъ, но въ то, что онъ меня изъ бъды выручитъ, я не върилъ: послъ описанныхъ неудачь въ Нижнемъ у меня глубо засъло предчувствіе, что въ этомъ городъ я ни отъ кого помощи не получу.

Хотълось уйти— и не уходиль. Потомъ поняль. Глядълъ на обстановку и думалъ:

— Бейте, чорть вась возми. Воть я стою унижайте, а униженный посмотрить: насколько вы упали и увидить—насколько онъ поднялся самъ. Я подожду. Нужно убъдиться: оскотинълъли хваленый человъкъ отъ комфорта, или нътъ.

Наконецъ адвокатъ вышелъ и, проводивъ своего кліента, замѣтилъ меня:

- Чамъ могу служить?
- Я къ вамъ по дълу,—неопредъленно началъ я.

Онъ меня любезно оборвалъ:

- Пожалуйте въ кабинетъ.
- Я вамъ и здъсь поясню.
- Что вы? Развѣ эдѣсь мѣсто? Меня признаться, очень смутило, когда я засталь вась ожидающимъ меня въ передней: для этого у меня пріемная. На этотъ счеть я прислугѣ сегодня же сдѣлаю внушеніе!.. Ну-съ, пожалуйте въ кабинетикъ: тамъ поуютнѣе.

Онъ меня мягко взяль подъ руку и повель. На ходу спрашиваль:

— Что у васъ съ ногами? Увъчье?

Меня кольнуло: воть она изъ какого источника любезность-то!

- Нѣтъ, хроническій ревматизмъ.
- Гмъ... Печально, очень печально для васъ. Кабинетикъ дъйствительно быль очень уютенъ, но на кабинетъ дълового человъка походилъ

мало: въ стремленіи ошарашить кліента обстановкой немного пересолили— кабинетъ забили чрезмѣрнымъ количествомъ мебели и различныхъ бездѣлушекъ.

Молча я подаль адвокату письмо поэтессы.

Съ первыхъ же строкъ онъ улыбнулся, улыбнулся и я: должно быть поэтесса изъ «хорошеньких».

Онъ прочелъ и въ раздумът бросилъ:

— Такъ... Но объясните, пожалуйста, чѣмъ могу помочь вамъ?

Я поясниль и протянуль ему двѣ тонкихъ тетради.

— Чтожъ, давайте свои разсказы. Я посмотрю съ удовольствіемъ, а если для васъ что нибудь можно будеть сдѣлать—сдѣлаю съ превеликимъ удовольствіемъ!*) Зайдите ко мнѣ черезъ недѣльку; тамъ видно будетъ, какъ мнѣ съ вами быть.

Я поблагодария в за участие и отправился домой.

На другой день хозяйка напомнила миѣ о платежѣ за комнату и столь. Я попросиль обождать. Томительно тянулась недѣля. Прошла. Пошелъ я къ адвокату въ сквериѣйшемъ состояніи духа: думалась, что этого господина я больше не увижу, а получу черезъ прислугу письмо: «Помочь, молъ, вамъ ничемъ не могу».

Такъ и вышло. Отворяя дверь, прислуга заявила:

- Барина дома нѣтъ.
- А когда онъ будеть?
- Не знаю. Онъ убхалъ на дачу. А какъ ваша фамилія? Я назвалъ.

^{*)} Даже подчеркнулъ!

— Погодите. Тамъ вамъ что то есть.

Ушла, вернулась черезъ минуту и вручила ми в инсьмо и мои разсказы.

У меня начали подкащиваться ноги. На площадкъ лъстницы стоялъ диванъ, съ трудомъ я дотащился до него, присълъ и, глазами страшной тоски, утратившей послъднюю надежду на жизнь, смотрълъ на не заклеенный конвертъ и не видълъ. что онъ совсъмъ адресованъ не на мое имя.

— Не удалось, —проносилось въ головъ, — не удалось. Ты хитрилъ, а не удалось.

Давая читать адвокату письмо поэтессы—я принималь въ разсчетъ, что не легко отказать просителю сразу, когда въ только что прочитанномъ письмъ пишется, что ты «очень хороний человъкъ» и т. д.

Но не упускалъ я изъ виду и того, что если люди не могутъ отказать лично, они вывернуться письменно: отсюда и были мои опасенія, что адвокатъ отъ меня отдѣлается письмомъ.

Я долго сидълъ. Я остро думалъ, а въ ушахъ звенъло: надо умирать. Вотъ ужъ и конецъ. Бхалъ къ Горькому, но увы, не поймалъ вътра въ полъ.

Потомъ я всталъ-уже съ силой, съ подъемомъ:

-- Чтожъ, если ужъ конецъ, лучше принять его съ мужествомъ. Разверни бумажку и посмотри, какъ люди ухитряются быть палачами:

пальцемъ до тебя не коснуться и собственными руками захлеснешь себъ петлю на шею.

И туть только я зам'втиль, что письмо не на мое имя: оно было на имя секретаря одной редакціи.

Я позвонилъ и говорилъ той же самой прислугъ:

-- Вы ошиблись. Письмо не миъ.

Она не взяла.

- Ну, вотъ. Вамъ велъно передать.

Тогда я вынуль изъ конверта листокъ бума-

«Многоуважаемый, Николай Ивановичъ. Отъ подателя сего письма прошу принять его разсказы. Интересенъ разсказъ «Изобрѣтатель», а въ особенности «Не отъ міра сего». Оба разсказа вполнѣ достойны напечатанія. Авторъ ихъ—бѣдный, больной человѣкъ и намъ надо его и его дарованіе поддержать. Зная Ваше доброе сердце, надѣюсь, что вы облегчите участь несчастнаго человѣка.

Остаюсь преданный Вамъ А. В. Яв—скій».

Что со мной сдълалось?! Я не върилъ своимъ глазамъ; еще нъсколько разъ перечиталъ... и за-илакалъ.

Это были въ моей жизни первыя слезы: слезы радости!

Безпомощный передъ приэракомъ нужды, забитый физическимъ недугомъ, я не выдержалъ незнакомаго мнѣ до той поры чувства, что нашлись все таки люди, которые думають обо мнѣ, хотять принять участіе въ моей судьбѣ; я не выдержаль и заплакаль.

Первыя слезы радости!

Съ ними, смахивая ихъ съ глазъ, я заковылялъ въ редакцію В. и во всю дорогу мучился стыдомъ за гадкое чувство, съ какимъ шелъ къ адвокату: вотъ видишь, вотъ видишь, какъ не хорошо относится съ недовѣріемъ къ человѣку, когда его не знаешь. Не забывай этого урока!

Около редакціи я немного поостыль: припомниль стычку съ редакторомъ-издателемъ «В.»

Но еще разъ перечиталъ письмо, выхватилъ фразу: «Оба разсказа вполнъ достойны напечатанія» и ръшилъ, что такъ увъренно высказывающійся человъкъ, въроятно, и въ самомъ дъль съ большимъ вліяніемъ.

— Такой, какъ нибудь загладить.

Вошелъ. Передалъ секретарю письмо. Редактора, на мое счастье, на лицо не было. Прочиталъ секретарь, поглядълъ «на несчастнаго» и пообъщалъ:

— Постараюсь устроить. Зайдите черезъ недъльку.

Недъля у меня пролетъла, какъ мигъ: съ утра до глубокой ночи писалъ. А ложился спать—
не спалось. Волновала фраза адвоката: «надо иамъ его и его дарованіе поддержать».

Дарованіе!

Какой небесной музыкой звучало это слово для меня. Сколько пережито и на родинъ и здъсь, чтобы услышать это слово?!

Соблазнительных плановъ я себъ не строилъ; наоборотъ, внушалъ, что мнъ предстоитъ много учиться, читать, упорно работать надъ собою.

И върилъ, что возможность къ этому миъ дадутъ адвокатъ и его друзья.

Недъля прошла. Сердце замирало, когда я шелъ въ редакцію. Пробовалъ себя успоканвать:

— Глупое. До чего ты напугано. Что можеть особенно страшнаго случится теперь?

Томили меня темныя предчувствія, но, наивный человікть, если мні было сказано: «Постараюсь устроить»,—я уже віриль, что «постараются».

Явился въ редакцію. За недѣлю отъ безсонницы и напряженія надъ работой я осунулся сильно. Секретарь это замѣтилъ.

— Вы очень плохо выглядите.

Потомъ подалъ мнѣ мон разсказы и, тономъ извиненія, заявилъ:

— Не можемъ принять. Сейчасъ война, ярмарка началась, совершенно некуда втиснуть вашихъ вещей.

Онъ говорилъ еще что-то, но я уже его не слушалъ: постоялъ-постоялъ и, точно во снъ, тихо пошелъ къ выходу.

Въ крайнемъ отупъніи я добрался до дому.

Не было ни мысли, ни какого либо опредъленнаго чувства, кром'в одного желанія: лечь отъ страшной устаности. Но, какъ говорять, одной бѣды никогда не бываеть съ человѣкомъ, такъ случилось и со мной.

Хозяйка не дала мыть даже довалиться до постели:

- Я къ вамъ опять: деньжонокъ бы!
- Не имъю, —отозвался я.
- А когда будуть?
- Не знаю.
- Ну, такъ вы сегодня же понщите себъ другую комнату. Вы человъкъ больной, ненадежный. Чего съ васъ взять? У меня на ваше мѣсто есть надежный квартиранть.

Туть только я, точно проснулся. Успокоиль хозяйку, что въ долгу у ней не останусь и отправился къ адвокату.

Засталь его дома. Первый разъ въ жизни приходилось такъ прямо просить и, пришибленнымъ голосомъ я высказался:

- Въ редакціи насчеть разсказовъ-отказъ. Хозяйка за столь и комнату требуеть деньги. У меня ничего изтъ.

Адвокать... вдругъ нахмуриль брови и ръзко началь меня отчитывать:

— Знаете что, молодой человъкъ? Когда я быль студентомъ, я быль тоже бъденъ и пробивался мелкой работой въ журналахъ. И пережилъ такое положение: мы съ женой ютились, валялись, какъ собаки, въ грязномъ и холодномъ углу! Да. Но... протекціи я все таки ни у кого не искалъ. Теперь я выбился изъ нищеты, живу, какъ человъкъ, но... помогать вамъ все таки не могу. У насъ до чорта различныхъ филантропическихъ, благотворительныхъ учрежленій и почти во всѣхъ я состою членомъ. Это меня избавляеть отъ повинности къ вамъ. Что вы мнъ теперь скажете?

Я быль пораженъ. «Очень добрый человѣкъи такъ сразу?!»

Я быль поражень и во всв глаза смотрыль на этого нагло-торжествующаго надъ совершенно беззащитнымъ человъкомъ хама.

Вихремъ кружились мысли:

— Ты нуждался, но должно быть, плохо нуждался, когда будучи человъкомъ *) забыль о томъ, какъ нуждаются. Ты нуждался затъмъ, чтобы отточить клыки и когти на нуждающихся? Большая ли честь такому человики? Ты имъещь ярлыки члена многихъ благотворительныхъ обществъ? Пріобръль ихъ затъмъ, чтобы имъть репутацію «очень добраго челов'єка» — обманулъ всѣхъ и хочешь еще обмануть, что этими ярлыками избавлень отъ повинности къ нуждающимся вив этихъ обществъ? Лжешь!

Вихремъ кружились мысли, но едва я произ-

65

^{*)} Какое понятіе о «человъкъ»? Такое-ли понятіе «о человъкъ» адвокатъ примънялъ въ судъ? Нижегородцамъ это должно быть знакомо.

несъ нѣсколько словъ, тихо, съ дрожью въ голосѣ: «Кому такъ говорите? Если бъ я былъ здоровъ... Вообразите себя на моемъ мѣстѣ»—какъ адвокатъ очевидно уже опомнился.

Онъ брезгливо поморщился и... заговориль много мягче:

— Да, ваше положение ужасное. Положительно не знаю, что съ вами дълать!

Помолчалъ и... вдругъ:

— Знаете что? Если строго разобраться: васъ нельзя будеть счесть тунеядцемъ, когда вы будете жить уличной милостыней. Такому, какъ вы, всѣ подадутъ: сразу видать, что вы не алкоголикъ, а истинно несчастный, больной человѣкъ.

Я жутко похолодьть. Я почувствоваль, что никогда еще я не ступаль на такую высоту страданія—и глазами этого страданія я впился въ адвоката; я ощущаль, что оттого, что мы смотримь другь на друга такъ упорно,—между нами создается необычайная тяжесть и острота, что адвокать страшно злиться и будеть злиться, пока я не оторву отъ него своего взгляда, и не могъ оторвать.

Я смотрѣлъ и медленно повторялъ:

— Нътъ, просить милостыни я не могу. Нътъ, просить милостыни не могу.

Онъ пожалъ плечами и опустилъ внизъ глаза:
— Почему?

Опустиль свои и я-съ огромпымъ облегче-

ніемъ отъ необычайной тяжести и остроты; какая-то большая, темная, внутренняя сила, внезапно взбудораженная, вновь засыпала.

Мысленно я торжествоваль: «Что, выкусиль? а? Первый—очи долу? Значить твоя сила не сила»—вслухъ говорилъ:

— Вы спрашиваете: почему не могу милостыни просить? Объ этомъ лучше спросите себя.

Онъ вновь пожалъ плечами.

— Положеніе! Жить вамъ буквально нечѣмъ, но доживать свой вѣкъ человѣку, какъ-никакъ, а надо.

Почему «надо»? И если уже явилось признаніе за человѣкомъ его права на жизнь, то что за признаніе: «Какъ-никакъ»!? *). Адвокатъ задумался. А я въ это время тоже кое о чемъ поразмыслилъ.

Счастье быть «въ уютномъ кабинетикѣ» я стало быть имѣлъ только одинъ разъ. Кабинетъ для кліентовъ, а не для нуждающихся; для тѣхъ—съ кого можно содрать, заработать, а для просителей—ихъ не надо пускать дальше порога своей квартиры: мы объяснялись буквально у входной двери!

^{*)} Воть, когда искренно высказываются такіе «прогрессивные»! Кому онъ въ Нижнемъ не извъстенъ, какъ «дъятель»? Не помню точно— въ 1908 или 9 году изъ тазетъ узналъ, что онъ высланъ изъ Нижняго. Не за благо человъка такіе борятся, а изъ своихъ корыстныхъ и тщеславныхъ цълей,—и скатертью такимъ дорога!

Про пріемную адвокатъ тоже, должно быть, забылъ. То грозилъ прислугѣ строгимъ внушеніемъ, что въ передней у него не объясняются, но съ момента, когда узналъ, что это не кліентъ, а проситель, нисколько не смущается объясненіями въ передней.

Я не чувствовалъ униженія: я изучалъ незна-комый мнъ міръ людей.

Адвокатъ наконецъ, надумался... быть человъкомъ!

— Вотъ что! Не просить же вамъ и въ самомъ дълѣ милостыню на улицъ, или спускаться до героевъ М. Горькаго и доживать съ ними свой въкъ «На днѣ». Мы сдълаемъ такъ: вы обождете еще съ недъльку, а я поговорю со своими пріятелями. Одинъ я для васъ ничего не могу сдълать, ну, а сообща что нибудь да придумаемъ. Обождете?

Мит ничего не оставалось, какъ покорно согласиться:

- Къ хозяйкъ я безъ денегъ не въ силахъ явиться, но если вы мнъ дадите немного денегъ— я обожду.
 - Гдѣ же вы обождете?
 - Гдв нибудь. Теперь льто.
- Ну, ладно. Какъ нибудь, промотаетесь. Во всякомъ случав, —это послъднее ваше мытарство: въроятно, я устрою васъ письмоводителемъ къ одному пріятелю-нотаріусу; если къ нему не удастся—хотя этого не думаю, —я со-

беру для васъ денегъ, на которые бы вы могли прожить и сколько мъсяцевъ. А за это время, несомитино, какое нибудь мъсто вамъ разыщемъ.

Адвокатъ вынулъ кошелекъ и, порывшись въ немъ, сунулъ мнъ трехъ-рублевку.

— Ну, до свиданія. Съ Богомъ! Не унывайте! Върьте въ людей, что пропасть вамъ не дадутъ.

Онъ тепло пожималь мнѣ руку, лицо его посвѣтлѣло—ледъ во мнѣ растаялъ, я благодарно смотрѣлъ на него и зато, что «пропасть мнѣ не дадутъ», и зато, что онъ мнѣ далъ возможность полюбоваться лицомъ—внезапно преображеннымъ въ лицо человѣка.

— Какими, должно быть, прекрасными людьми мы были въ это время!

Отъ адвоката я пошелъ въ городской садъ; забился въ самый его уединенный уголокъ и пробылъ въ немъ до тъхъ поръ, пока сторожъ не попросилъ объ выходъ.

Пошель въ трактиръ— закусиль и сидъль за чаемъ до закрытія.

Когда выбрался изъ него—шумная и оживленная улица днемъ и вечеромъ, была тиха и безлюдна.

Стало жутко. Я впервые почувствоваль, что это за ужасъ—городъ ночью, когда онъ въ тишинъ и безлюдъъ, для человъка не имъющаго въ немъ крова.

Я прошель улицу, другую и присълъ въ концъ

ея на скамью. Ночной сторожъ минуть десять смотрыть на меня и попросиль:

— Сидъть въ ночное время у дома нельзя. Илите своей дорогой.

Я пошелъ. Еще двъ улицы и вновь присълъ. И отсюда черезъ пять минутъ попросилъ городовой.

Я присъль въ третьемъ мъстъ-тоже самое.

Я думаль пойдти домой и не ръшался: хозяйка меня ждеть съ деньгами, а я съ чъмъ приду?

Я видълъ ея тотъ скверно-подозрительный, жадный взглядъ, какимъ она смотръла на меня, когда я началъ жить въ долгъ, ту гаденькую боязнь, что ее хотятъ обмануть: «Нажить и съъхать», — и не въ силахъ былъ побороть отвращенія.

Ноги болъли нестерпимо, усталость охватывала до изнеможенія, а меня гнали изъ улицы въ улицу.

Пять-десять минуть присъсть—подозрительные взгляды: «зачъмъ присълъ? Что ему надо? Это, должно быть, не спроста»—и болъе или менъе въжливое:

Сидѣть въ ночное время у дома нельзя.
 Идите своей дорогой.

Отъ совсъмъ грубыхъ окриковъ меня спасалъ приличный костюмъ.

— Будьте вы честнъйшій въ мір'ь челов'якъ, но если хоть одну ночь вы вынуждены будете провести въ городъ безъ ночлега, вы почув-

ствуете, какъ въ васъ заподозрять вора, врага общественной безопасности не только грубый дворникъ, любой городовой, но стѣны изъ камня и дерева: будьте вы честнъйшій человѣкъ въ мірѣ, человѣкъ изъ плоти и крови, человѣкъ съ частичкой божества—разума и души,—но васъ смертельно оскорбитъ не только человѣкъ, но каждый кирпичъ въ стѣнѣ, каждое бревно!

И я ходилъ, гонимый ходилъ, смертельно оскорбленный, до смерти униженный:

— Человѣкъ, до чего ты унизился?!

Но безмятежно спали «человѣки» въ своихъ каменныхъ и деревянныхъ норахъ и берлогахъ, спали рабы своего господина изъ камня и дерева и не думали, что даже звѣри не унизили себя до охраны своихъ норъ и берлогъ по ночамъ. Я ходилъ:

— Охраняйте и охраняйтесь! Шире и выше кладите города свои—совершайте всѣ виды преступленія надъ человѣкомъ по одиночкѣ и огуломъ,—обществомъ, а человѣкъ платитъ и будетъ платить вамъ тоже всѣми видами преступленія. Охраняйте и охраняйтесь! Прячтесь за стѣнами, тщательнѣй запирайтесь, трепещите за крѣпость стѣнъ своихъ и дверей, ибо, если не дано вамъ создать жизни съ незапертыми дверями по днямъ и ночамъ—значитъ, охраняйте и охраняйтесь! Небо, какъ, должно быть, тебѣ жалки рабы твои?! Они заперлись, затворились отъ воздуха, они закрылись кусками матерій отъ свѣта: они

задыхаются, чахнутъ, но не отопрутся и оконъ не откроютъ. Небо, можетъ быть, ты Небо даже никогда не увидишь великой красоты, когда они перестанутъ охранять и охраняться! Городъ. Городъ! Пойми и почувствуй весь свой ужасъ.

Свѣтало. Зашевелился трудовой муравейникъ. И тутъ только городъ позволилъ мнѣ отдохнуть. Я присѣлъ около грязной пекарни, локтями уперся въ колѣна, лицо скрылъ въ рукахъ—и такъ сидѣлъ, удерживаясь, чтобы не стонать отъ боли въ ногахъ.

Въ девять утра я поъхаль въ больницу. За одну ночь для меня стало ясно все безуміе того, чтобы провести недълю на улицъ при моемъ состояніи здоровья. Я забыль объ адвокатъ, о томъ, что черезъ недълю конецъ моимъ мытарствамъ, я забыль о томъ, какъ и зачъмъ я очутился въ этомъ городъ—я помнилъ только о томъ, что у меня въ карманъ есть паспортъ, въ моемъ тълъ бользиь, въ городъ больница.

Я записался и до своей очереди—сидълъ въ углу амбулаторіи и устало грезилъ, что скоро я буду отдыхать на больничной койкъ, не буду видъть скверно-подозрительныхъ, жадныхъ глазъ, никто мнъ не напомнитъ о деньгахъ.

Врачъ меня не принялъ:

- Противъ такой застарълой формы ревматизма больничное леченіе безсильно.
 - Мнѣ жить негдѣ, сказалъ я: Я на улицѣ. Онъ развелъ руками:

-- Это все равно. У насъ непріють хрониковь. Гдѣ «пріють хрониковь» онъ не сказаль, я не спросиль—я поѣхаль домой.

Хозяйка встрътила меня молчаливымъ вопросомъ.

Я покачаль головой:

— Денегъ нътъ.

Съ злымъ отчаяніемъ она замахала руками:

— Какъ нътъ? Что же это такое? У меня даже на объдъ ни копъйки. У меня дъти останутся голодныя.

Я ее остановилъ. Я сказалъ ей, что черезъ недѣлю у меня будутъ деньги, мѣсто, что мнѣ это обѣщано адвокатомъ такимъ-то и сунулъ ей оставшіеся у меня два рубля:

- Вотъ вамъ на объдъ.
- Адвокатъ.... Я слышала...
- Что она слышала—я не хотълъ слушать. Я шелъ въ свою комнату, а она слъдовала за мной и льстиво говорила:
- Я слышала... Это такой большой человъкъ! Какой вы счастливый: такіе знакомые! А у меня вотъ нѣту. Сына бы вотъ куда получше устроить... За 35 рублей тянетъ...

Не раздѣваясь—прямо въ костюмѣ и даже въ пальто я повалился на постель...

Она пошла изъ моей комнаты, — такъ ласково журчала, какъ кошечка:

— Подгуляли? Ахъ, вы... вотъ ужъ никогда не ожидала. Ну-ну, спите!

Спокойно я провель недълю. Читаль. Писаль новый разсказъ. Думая о пережитыхъ передрягахъ-думалъ о нихъ съ чувствомъ, когда уже что нибудь тяжелое прошло и повторение не ожилается:

— Да, что было -петля совствив. И вдругъ... Въ сущности, человъку никогда не слъдуетъ отчаяваться. Привалить сразу такое-о чемъ и не мечталъ. Вотъ ужъ никогда не думалъ: мъсто письмоводителя у нотаріуса!

Шель къ адвокату безъ малъйшей тъни сомижній.

Позвонилъ, и, когда дверь начала осторожно пріотворяться, но ничьего лица еще не было видно, спросилъ:

— А. В., дома?

74

— Я самъ на лицо. Войдите.

Я шагнуль черезъ порогъ. Предо мной стояль г. Я. Тепло я было потянуль ему свою руку, но на полдорогъ она остановилась и тяжело упала внизъ. Руки адвоката были спрятаны за спиной, на меня онъ смотрълъ холодно-злыми, насмѣшливыми глазами, а потомъ, рѣзкимъ и враждебнымъ тономъ, точно онъ видитъ человъка впервые, но уже предубъжденъ противъ визита этого человъка-такимъ тономъ онъ остановиль на полдорог в мою тепло къ нему потянувшуюся руку:

- Что скажете?

Если бы предо мной неожиданно раскрылась

пропасть, въ которую я долженъ неминуемо упасть, я быль бы менте ошеломленъ и изумленъ.

И первое мое движение было выйдти изъ его квартиры - выйдти молча, -- но не хватало силъ: въ передней стоялъ стулъ, я опустился на него.

Онъ переспросилъ:

— Что скажете?

Я молчалъ. Подавленный этой чудовищной игрой, - бросать человъка къ двумъ острымъ крайностямъ, - то создавать ему иллюзіи на жизнь, то ставить лицомъ къ лицу со смертью, дълать это внезапно, безъ всякихъ переходовъ, точно съ однимъ звъринымъ желаніемъ-упиваться муками человъка отъ этихъ крайностей, подавленный этой чудовищной игрой, я прежде хотыль крикнуть:

— Что вы дълаете? Что вы дълаете?

И не могъ. Спазмы давили горло. Немного спустя, я уже только хотълъ сказать-тихотихо, безъ ненависти и негодованія, стономъ истерзанной души и всей силой ся убъжденія:

— Что вы дълаете?

Не сказалъ и этого. А онъ медленно, ръзко отчеканивая каждое слово, точно решилъ не давать мнъ опомниться, началъ меня добивать: *)

^{*)} Чего у него не хватило-ума или характера довести эту сцену до конца? Мнъ кажется, чтобы быть послъдовательнымъ, то г. Я. встръчая молчание на дважды за-

- Сдълать я для васъ ничего не могъ? **) Потомъ, дарованіе у васъ есть—это несомиънно! Но существовать литературнымъ трудомъ вы не будете. Вы гдъ учились?
 - Въ начальной школъ.
- Это и видно. Безграмотность у васъ страшная. Читая ваши разсказы—я хохоталъ! Понимаете? До коликъ живота хохоталъ! Надъ тъмъ, какъ у васъ разставлены знаки препинанія и на какихъ буквахъ сдъланы переносы. Понимаете?

Немного помодчалъ:

- Позвольте! Это что такое у васъ?

Бортъ моего пальто отвернулся и, изъ бокового кармана торчала рукопись—только что конченный новый разсказъ, который я захватилъ съ собою къ адвокату.

Онъ потянулся ко мнв и вытащиль изъ кармана рукопись.

— Ага, новое твореніе! Ну, вотъ, я вамъ сейчасъ наглядно покажу.

Онъ сталъ про себя читать, отмъчая карандашомъ.

Это тянулось болье пяти минуть. Я началь собой овладывать.

— Что же передо мной за индивидъ? Какъ онъ могъ совмъстить то, что было недълю назадъ и то, что творитъ сегодня? «Не унывайте. Върьте въ людей, что пропасть вамъ не дадутъ».

Что это—лирика безпринципнаго языка, минутная вспышка сердца безъ соединения съ совъстью?

И вдругъ мит стало понятно: изъ какого источника это «сверхмужество» адвоката, сверхмужество спрашивать человъка послъ такихъ завъреній, послъ того, какъ самъ же просилъ зайдти:

— Что скажете?

Адвокатъ хорошо пообъдалъ: сытой и наглополупьяной мутью подернулись его глаза.

Онъ одѣтъ былъ въ широкую, ярко-пеструю рубашку изъ того ситца, что идетъ усиленно на азіатскіе рынки: родное то, какъ видно, не скроешь—сказывается!

Было въ этомъ человѣкѣ что то тяжелое, затаенно-угрюмое, вызывающее непріязнь, и тогда, когда я его видѣлъ во фракѣ, но фракъ и манеры, очевидно прочно усвоившіися при ношеніи этого атрибута своего сословія, нѣсколько скрадывали непріязнь тѣмъ, что казали его безусловно культурнымъ нитомцемъ. Но стоило ему ебросить фракъ, заразиться сознаніемъ, что стѣсияться передъ какимъ то бывшемъ рабочимъ*)

данный вопросъ, долженъ былъ бы указать мнъ молча на дверь? Тогда, по моему, комедія, была бы блестяще выполнена до конца!

^{**)} Неужели товарищи всъ таковы, какъ и самъ. Или... не хотять идти на удочку ловца, который любить быть добрымъ только за счеть другихъ?!

^{*)} Объ этомъ онъ узналъ отъ меня же въ первый виэнтъ къ нему.

нечего, что свидътелей тутъ нътъ, а рабочій, что и гдъ можетъ онъ сказать, чтобы набросить тънь на репутацію одного изъ блестящихъ адвокатовъ Нижняго?! Стоило ему придти къ сознанію, что тутъ можно быть «самимъ-собой», какъ отъ внъшне культурнаго звъря не осталось и слъда.

Свободно изъ подъ рубашки вырисовывались могучая грудь, широкія плечи, а ея своебразный рисунокъ былъ полнымъ дополненіемъ къ его лицу. Съ изсиня-темнымъ цвѣтомъ кожи, съ крупно-рѣзкими своею жестокостью чертами, съ широкимъ, плоскимъ подбородкомъ, что казало это лицо чуть-чуть не квадратнымъ—оно всею своею совокупностью теперь говорило о хищникѣ духа.

Для былыхъ временъ трудно было представить себъ болье великольпную фигуру на: «Сарынь на кичку»!

Но увы, тѣ времена прошли, но и хищники не потерялись, а приспособились: одна изъ первыхъ скрипокъ общества, камелеонъ судебныхъ залъ; защищающій не по совѣсти, а по разсчету, то обиженнаго, то насильника, политическая фигура—тоже, вѣроятно, изъ первыхъ скрипокъ «оппозиціи», членъ почти всѣхъ филантропическихъ и благотворительныхъ обществъ, другъ пріятель со всѣми, съ кѣмъ выгодно, а если и не выгодно, то нужно,—онъ этотъ, разбойникъ духа, всѣхъ обманулъ и обманываетъ,

онъ сообразно времени осуществляетъ ловко «Сарынь на кичку»!—и онъ же пользуется положеніемъ «очень добраго человѣка», онъ лицо, о которомъ, можетъ быть, многіе отзываются такъ, какъ отозвалась наивная поэтесса!

Да, пока этотъ «дѣлецъ» осквернялъ мою рукопись,—я изучалъ его. Я уже овладѣлъ собою и холодно ожидалъ: а ну, что выкинешь еще?

Наконецъ, онъ оторвался отъ рукописи, всталъ и тыча пальцемъ въ помѣтки карандашомъ, со злымъ смѣхомъ говорилъ:

— Ну, посмотрите, что это за переносы! Боже мой, что это за переносы?! Что же вы сидите? Одервенъли? Я вамъ говорю: посмотрите, что у васъ за переносы.

Я свои «переносы» смотрѣть не желалъ. Онъ уже прямо крикнулъ:

— Вы знаете, что такое «подлежащія и сказуемыя»?

Я ему хотълъ сказать, что зналъ, но забылъ, что «переносы» не такое уже преступленіе изъ за котораго такъ можно орать, ибо оно легко поправимо, что не удивительно и забыть, если я до своего писательства въ теченіе 14 лътъ— въ годъ три-четыре раза держалъ перо въ рукахъ. Я хотълъ это сказалъ нъчто другое:

— Не знаю. Ничего я не знаю.

Я боялся умъстнымъ возражениемъ отнять у.

себя нужное: дать проявить себя этому индивиду до конца.

Онъ понизилъ тонъ, но прибавилъ апломба:

— Не знаете? Ну, вбейте себъ разъ навсегда въ голову: писатель—есть учитель жизни. А учителемъ вы, конечно, быть не можете. Есть еще литераторы имъющіе сильный изобразительный талантъ—у васъ нътъ и этого. У васъ маленькоемаленкое дарованьице, съ которымъ вы далеко не уъдете. Ну, что вы на это скажете?

Что я ему могъ сказать?

Несчастный Алексьй Кольцовъ—ты счастливъ тьмъ, что имълъ другомъ такую великую душу, какъ Бълинскій; несчастный ты счастливъ тьмъ, что не живешь въ наше время, не очутился на моемъ мъсть: если мнъ за переносы такъ влетьло, то, что было бы тебъ за твою ороографію?!

Не дождавшись отвъта, адвокатъ меня спро-

— Гдѣ ваша родина?

Я отвѣтилъ.

- Что же вы теперь думаете дълать?
- Чего же миъ дълать?

Онъ съ раздраженіемъ отмахнулси рукой:

- Не понимаете, что ли? Ну, какъ думаете съ собой быть?
 - Не знаю.

Этимъ я опять вызвалъ у него крикъ:

— «Не знаю». Отв'ять?! Кто же должень за васъ знать?

Торжествующій хамъ уже слишкомъ торжествовалъ, а въ моемъ распоряженіи противъ него ничего не имѣлось, кромѣ какъ напомнить ему, чтобы онъ не забывался до глупости. И со смертельно-спокойной и холодной улыбкой я его спросилъ;

- Какъ можно спрашивать съ человѣка моего положенія, какъ онъ думаєтъ съ собою быть? Есть положенія, когда человѣкъ за себя не можетъ думать, нечего думать, когда ясно, что положеніе совершенно безвыходное.
- Гм...—адвокатъ подумалъ:—Гм... этимъ вы хотите заставить, чтобы за васъ думали другіе? Какъ можно «заставить» такого человѣка, а вообще, что если бы и можно, то я врагъ этого—на этотъ счетъ я рѣшилъ промолчать.

Онъ пожалъ плечами:

— Вы не такъ просты, какъ я раньше думалъ. Но, вотъ что... есть у васъ на родинѣ кто нибудь изъ родныхъ?

Разумѣя подъ родными не братьевъ, а человѣка, я отвѣтилъ, что нѣтъ.

- Сколько стоитъ проъздъ до родины?
- Пять рублей съ копъйками.

Я. принесъ изъ пріемной въ переднюю бумагу, чернила и перо, присѣлъ къ столу, написалъ и прочелъ вслухъ.

Вслухъ! Даже и такой дешевенькой добротой не прочь похвастать: смотри, каковъ я!

«Многоуважаемый Өедоръ Өедоровичъ. По-

датель сего письма бѣдный, разбитый ревматизмомъ человѣкъ. Я хорошо зная его, свидѣтельствую: положение его безвыходное и отчаянное. Ему нужно*) выѣхать на родину. Помогите несчастному человѣку въ этомъ».

А затъмъ поясненія:

— Это письмо отдадите чиновнику особыхъ порученій при губернаторѣ. Это мой хорошій пріятель. Онъ вамъ выдастъ билетъ на проѣздъ и полтора рубля денегъ казенныхъ на хлѣбъ. Такъ полагается. Съ голоду, значитъ въ дорогѣ не умрете!

Потомъ запечаталъ письмо и, вручая его мнѣ, пожелалъ:

— А теперь, до свиданія. Желаю вамъ всѣхъ благъ земныхъ!

Въ послѣдній разъ я взглянуль на человѣка изъ незнакомаго мнѣ міра, гдѣ такъ дешево и безцеремонно могутъ отдѣлываться «отъ несчастныхъ».

Я взглянулъ на него съ мыслью: чѣмъ продиктовано его письмо на родину? Жалостью-ли настолько, чтобы она ничего не стоила, или соображеніями, что «несчастный» можетъ полѣзть за помощью еще къ кому нибудь и разсказать, что доброта «очень добраго человѣка» должна быть подъ сомнѣніемъ?

Потомъ я молча кивнулъ головой и вышелъ изъ квартиры этой незабвенной для меня фигуры.

Тих)-тихо—не шибче черепахи брелъ я до канцеляріи губернатора.

Тамъ мит пояснили, что по желтаной дорогт безплатнаго протада до родины мит не могутъ устроить, но по водному сообщеню—въ любой приволжскій городъ.

Я попросиль до Сызрани: оттуда уже была надежда добраться до родины по жельзной дорогь съ къмъ нибудь изъ жельзно-дорожныхъ служащихъ.

Чиновникъ приказалъ писцу написать о безплатномъ для меня проъздъ въ кассу одной пароходной компаніи—и спросилъ:

- А на пропитание въ дорогѣ у васъ есть? Я отвѣтилъ, что нѣть.
- Какъ это вы попали въ такое положеніе?

Я все разсказаль чистосердечно.

Онъ выдалъ мнѣ полтора рубля казенныхъ:

— Маловато. Вѣдь, ѣхать почти три дня.

Я поблагодариль и заявиль, что достаточно. Онь мнв даль еще рубль оть себя.

 — А вы бы попросили у того, кто вамъ далъ письмо ко мнъ. Слава Богу, онъ не бъденъ.

Я отмахнулся рукой и, должно быть, мой жестъ сказалъ чиновнику многое: «хорошій пріятель» покачаль головой!

Я еще разъ поблагодарилъ его и вышелъ изъ канцеляріи.

А черезъ два часа я уже ѣхалъ. Пользуясь

^{*)} Почему нужно? Зачъмъ?

билетомъ IV класса я сидълъ на кормъ парохода на грудъ канатовъ.

Пассажиры одного со мною класса — большинство мужички, — смотръли на меня полунасмъщливо:

- Что, баринъ, прогорѣлъ?
- A, и вашему брату съ нашимъ братомъ приходится ъзжать?

А сверху, съ налубы съ любопытствомъ поглядывали на меня пассажиры I и II класса: прилично одътый человъкъ, а гдъ ъдетъ?!

За кого они меня принимали? Во всякомъ случать не за того, что я въ дъйствительности былъ.

Я тоже поглядываль на нихъ. Холодно безразличныя лица, а все таки смотрятъ: мы любимъ унижать человъка, пялить глаза на его несчастіе—и совсъмъ не умъемъ быть людьми!

Быстро плыли берега, то низкіе—съ яркой зеленью, то голыя, безъ растительности,—величественныя своей дикой неприступностью высокіе отвъсы; день угасалъ въ ярко-розовыхъ краскахъ—непередоваемая красота ложилась на воду, на песчаныя отмели, небо опрокинулось въ Волгу голубой огромной чашей.

И палуба, и пассажиры моего класса — всъ восхищались, но жадиъе всъхъ на всю эту благодать Божьяго міра смотрълъ я.

Впервые я ѣхалъ по Волгѣ, впервые видѣлъ эту красоту и не переносима была мысль, что

въроятнъе всего: не увидъть мнъ этого великольпія вторично, не всмотръться въ него, какъ слъдуетъ.

Стемнъло. Необъятный, шелковисто-синій пологь, затканный золотомъ звъздъ, куполообразно навись надъ землей.

Я смотрѣлъ то въ эту высь, то утыкался въ воду: «Куда я ѣду? Гдѣ и у кого найду на родинѣ пріютъ? Негдѣ преклонить свою голову, негдѣ и не на что дать отдыхъ измученной душѣ, недужному тѣлу. Глупая, старенькая, но милая-милая избенка: можетъ быть, тебя новые владѣльцы уже снесли?»

Поздно. Всѣ пассажиры парохода спять — одинъ я все на той же кормѣ, на грудѣ канатовъ.

Все тѣло болитъ и не могу представить, какъ лечь спать, не имѣя даже, какъ мужички, котомки подъ голову, на голыхъ нарахъ IV класса.

Бъдная моя квартирная хозяйка: къ вечеру ждала и въроятно всю ночь прождетъ своего жильца съ деньгами!

Раза два на корму навертывался матросъ и подозрительно на меня посмотривалъ.

Онъ, кажется мнѣ, въ своихъ подозрѣніяхъ не ошибался.

Воды Волги тихо, съ мягкимъ шелестомъ бились о бортъ парохода. Долго я боролся съ силой притяженія этой темной глади: покоя загадочной глубины водъ просило мое жалкое,

забитое недугомъ, тъло, но протестовала душа своей неутомимой тоской по красотъ земли, протестовала и говорила: «А Горькій? Ты къ кому ъхаль—кънему? Ну, неудача. Перетерни, а тамъ, можетъ быть, и встрътишься съ нимъ.»

Подъ утро я уже рѣшилъ: до послѣдняго вздоха буду искать этого человѣка. Чтобы меня не ждало, а буду бороться за то, чтобы встрѣтится съ нимъ.

Это ръшение дало мнъ миръ, успокоение — я дремалъ, сидя на канатахъ.

Подремлю и очнусь. Пароходъ рвется впередъ и впередъ.

— Глупая машина, рвется впередъ и не знаетъ, что нътъ въ міръ угла, гдѣ бы не лицемърно признавали за человъкомъ его неотъемлемое право на жизнь. Вотъ я работалъ — высосалъ Капиталъ силу, здоровье и выбросилъ изъ сферы труда вонъ: не нуженъ! Вотъ я ищу права мыслить. Калъка физически, я, какъ милостыни ищу того, чтобы мнѣ дали возможность отдать свои силы духовныя. Я ищу, и что встръчаю? Глупая машина!

А потомъ въ сонное сознаніе врывалось, какъ высшая радость: «а Горькій?!» И хотълось кричать:

— Да, да, Горькій! Милый челов вкъ, живеть и не знаетъ: какими мытарствами искупаютъ въру въ него. Милый челов вкъ!

И върнлось, что не напрасно я побывалъ въ

Нижнемъ: думалось, что та горькая страничка, которую я вписалъ въ этомъ городъ собственной кровью въ свою книгу жизни — вписана не напрасно.

Съ улыбкой я припоминалъ г. редакторовъ, Ч., адвоката — и страннымъ мнѣ казалось, что не нахожу въ себѣ къ нимъ даже непріязни.

А потомъ я пришелъ къ заключенію:

— Недостойно человѣка расточать свой гнѣвъ по мелочамъ. Нѣтъ! Отъ мелочей мы себя еще побережемъ!

Кое какъ я добрался до родины. Пріютили меня добрые знакомые. Прожилъ я у нихъ около двухъ мѣсяцевъ. За это время, благодаря чиновнику при губернаторѣ я получилъ изъ Нижняго, оставленныя у хозяйки, всѣ свои вещи: я ему послалъ деньги — и человѣкъ, видѣвшій меня только разъ, не отказался возиться съ расплатой за комнату, съ отправкой вещей.

А потомъ... потомъ я опять прочелъ въ газетахъ: «Горькій прівхалъ въ Петербургъ, гдв пробудетъ продолжительное время». Прочелъ и боялся: а «вдругъ опять утка?» И мучили опасенія: а вдругъ и въ самомъ дѣлѣ прівхалъ—поживетъ и увдетъ? А тогда ждать новаго случая Богъ знаетъ сколько?

И не выдержалъ. Достали мнѣ добрые люди денегъ на дорогу — я помчался въ Петербургъ.

Это было въ октябрѣ 1904 года.

Англійскій публицисть Е. Н. Диллонъ въ «Иностранной критикѣ о Горькомъ говоритъ:

"Россія единственная страна въ міръ, гдъ мыслима такая необыкновенная карьера, какова карьера Горькаго; ниглѣ больше общественныя перегородки не поддаются такъ легко натиску необработаннаго таланта-парія, нигдъ двери не растворяются такъ широко передъ нимъ, когда онъ стучится въ нихъ во имя науки или искусства Здѣсь каждая искра таланта, загорѣвшаяся въ дикихъ степяхъ или грязныхъ трущобахъ, привътствуется, какъ чистое золото, такъ какъ гумманное сочувствіе ко всемъ униженнымъ основная черта русской интеллигенціи и русскаго народа и каждый готовъ даже на жертвы, лишь бы облегчить имъ путь".

Такъ-ли это?

Дабы читатель могъ судить — какова на самомъ дѣлѣ русская дѣйствительность, — я разскажу нѣсколько сказокъ изъ русской дѣйствительности, извиняясь за ихъ спецефичность: всѣ онѣ съ хорошимъ началомъ и сквернымъ концомъ!

Прівхаль я въ Петербургь съ наличностью безъ гроша въ карманѣ. Кромѣ сестры въ этомъ городѣ — никого. Жила она въ убогой квартирѣ — конура въ одну комнатку, — съ мужемъалкоголикомъ, который не только не приносилъ ни копѣйки со своего заработка, но пропивалъ и то, что она зарабатывала домовой портнихой.

Сестра, оказалось, никогда не писала мнѣ правды о своей жизни — на мои вопросы объ этомъ, всегда отдълывалась успокаивающей парой словъ: «Ничего живу».

Скверно подъйствовало на меня такое «ничего». Гнусный, въчно пьяный паразитъ-мужъ и общій, неумолимо-холодный укладъ жизни, придавили сестру до тъхъ невидимыхъ въ жизни маленькихъ мученицъ, которыя дъйствительно лучшаго отъ жизни не ожидаютъ и безъ ропота, ибо видятъ безплодность его, несутъ свои непосильно-огромные кресты.

Несутъ со сжатыми зубами, несутъ съ однимъ мучительнымъ желаніемъ: замуровать на днѣ души своей всѣ стоны, вопли, всю муку своего дикаго существованія.

Послѣ первыхъ привѣтствій, я попытался осторожно покопаться въ душѣ сестры:

— Давненько не видались. Разскажи, какъ жилось и живется?

И получилъ отпоръ. Она нахмурилась, лицо пронизалось внутреннимъ свътомъ гордой безнадежности; помолчала и равнодушно бросила:

- Да, не видались давненько. А говорить, - что говорить? Легче отъ этого не будеть.

На другой день я отправился въ адресный столъ за адресомъ Горькаго въ сильно приподнятомъ настроеніи: волновался уже не за себя, а за участь сестры.

Милая, наивная молодость! Ты не умъешь, какъ осторожная старость учитывать обстоятельства момента, заглядывать въ будущее, ты смъшна, но ты и велика тъмъ, что сердце твое не окаменъло въ себялюбіи: мое положеніе, какъ положеніе человъка непригоднаго къ труду, было хуже положенія сестры, а я ъхалъ и мечталъ, какъ избавлю сестру отъ мужа, дамъ ей возможность отдохнуть.

И свалился съ неба на землю: опять газеты о прітвадъ Горькаго наврали.

Не нюхавшій, что за холопство процв'таетъ въ литератур'є, не знающій о стать борзописцевъ, сшибающихъ на знаменитостяхъ пятаки, пока знаменитость идетъ въ гору, а когда подъ гору, — тоже пятаки, но уже на томъ, какъ бы свалить корифея съ пьедестала — я былъ придавленъ и недоум'твалъ:

— Къ чему эти ложныя свѣдѣнія? Кому какая польза отъ того, что въ газетахъ прокричатъ: «Горькій поселился въ Петербургѣ»,—а на самомъ дѣлѣ онъ и носа сюда не казалъ?

Когда я вернулся домой, сестра не спраши-

вая, по моему лицу сразу узнала о неудачь и, безпомощно развела руками:

— Қақъ же будешь? На меня не надъйся. Сама не голодаю, когда работаю. А работа бываетъ рѣдко. Сидишь безъ дѣла — сидишь голодная и трясешься: а вдругъ за слѣдующій мѣсяцъ нечѣмъ будетъ платить за квартиру?

Я вспыхнулъ:

- И тебѣ не стыдно? Зачѣмъ же ты въ письмахъ приглашала, чтобы я пріѣзжалъ къ тебѣ?
 - Я думала, что ты можешь работать.
 - Ахъ, вонъ что!
- Что жъ... скрывать не буду. Если бы ты могъ работать твоего куска не съѣла бы, а легче мнѣ было бы. При тебѣ мой дуракъ такъ бы не расходился.

И сестра поникла головой. Я видѣлъ, что ей тяжело, жаль меня, но не настолько, чтобы вспыхнувшее отчуждение прошло совсѣмъ: не легокъ былъ свой крестъ и прибавлять къ этому кресту обузу въ лицѣ меня, было женщинѣ не по силамъ.

Улегся и мой негодующій порывъ, но острый холодокъ отчужденія не исчезъ и во мнѣ, причиняя щемящую боль.

Да, вотъ она жизнь! Вмѣстѣ росли, вмѣстѣ воздавали восторженную дань утреннему солнцу, изумрудной зелени сада, вмѣстѣ впитывали въ себя всѣ первыя впечатлѣнія бытія—и все-таки

не сроднились настолько, чтобы жизнь впослъдстви оказалась не въ силахъ разъединить!

Много лѣтъ не видаться, много лѣтъ таить въ себѣ радость встрѣчи — и встрѣтясь, почувствовать себя лругъ-другу въ тягость.

Дикая, чудовищная жизнь, гдѣ юность, свѣтлая святыня человѣка, можетъ быть омрачена скорбью.

Сестра помолчала и предложила:

— Ну, не сердись. Давай объдать.

Я отмахнулся рукой и легъ на постель.

Лежалъ день и мучился, есть гдѣ-то Горькій, но не для меня, не мнѣ найдти его; онъ для человѣка моего положенія—миражъ!

Безнадежность давила до полной апатіи и примиреніе съ концомъ своего бытія казалось единственнымъ выходомъ.

Лежалъ на другой день—но уже подъ властью другихъ чувствъ: при мысли, что жизнь меня раздавитъ только, можетъ быть, потому, что мнѣ трудно столкнуться съ нужнымъ человѣкомъ — поле зрѣнія моего слѣпилось бѣшенствомъ.

— Найду, —твердилъ я съ злымъ чувствомъ: — Найду — во что бы это ни стало! Дойду до униженія, ибо гдѣ возможны униженія во имя сохраненія своего я, тамъ не только униженія, но н преступленія должны падать на отвѣтственность общества.

Во мит гоморило не упрямство, не то слипое

и безразсудное, въ чемъ русскій человѣкъ грѣшитъ иногда до фанатизма, а кровь потомка того крѣпостного раба, который и подъ розгами на конюшнѣ продолжалъ думать про свое завѣтное...

А на третій день, я уже надумался.

Схватился за писателя изъ духовныхъ особъ. На моей родинъ это былъ одинъ изъ наиболъе распространенныхъ писателей: не было въ средъмоихъ знакомыхъ дома, гдъ бы я не встръчалъ «проповъдей» этого «батюшки».

Коротко я написалъ ему:

«Боюсь побезпокоить Васъ своимъ визитомъ не во время, а поэтому очень прошу сообщить мнѣ: въ какое время могу быть у Васъ. Имѣю къ Вамъ аѣло, съ которымъ связанъ вопросъ всего моего существованія».

Прошла недѣля — отвѣта не было. Набрался рѣшимости отправиться безъ приглашенія. ѣхалъ въ сквернѣйшемъ настроеніи: не вѣрилось въ помощь. ѣхалъ и думалъ—какое несчастье быть человѣкомъ впечатлительнымъ: не забывалъ отвита съ дворникомъ, редакторовъ Нижегородскихъ газетъ, а больше всего—адвоката!

Чудилось, что и здѣсь ждетъ лишнее униженіе и во всю дорогу порывало вернуться обратно. Но Горькій и кровь потомка крѣпостного раба... Я переломилъ себя, когда добрался до

особняка батюшки въ Новой деревить. Особнякъ былъ изъ тъхъ, передъ которыми бъдняки испытывають смущение: я посмотръль на его фасадъ, на ръзъбу дверей параднаго хода и, когда моя рука коснулась звонка-подумаль, что я можеть быть, совершаю дерзость, которой мив не простять.

Такъ и вышло. Высунулась горничная, быстрымъ взглядомъ окинула меня съ головы до ногъ и, бросила:

— Дома никого нѣть.

И захлопнула дверь.

Я пошелъ съ чернаго хода. Кухарка, на минуту подняда голову отъ кастрюль на плитъ, оглядъла «посътителя» тоже съ ногъ до головы:

- Что надо?
- Батюшка дома?
- А на что вамъ его?
- Дъло къ нему имъю.
- Какое дъло-то! Много тутъ ходять по дъламъ-то. Занять онъ. Нельзя его отрывать. Влетъла горничная. Взглядъ на меня—и видъ: «ага, проучила наглеца! Знай свое мъсто».

Потомъ опять ложь:

— Вы опять? Я говорила же: дома никого нать, точный столя заказ и сте да

Я кивнулъ головой на кухарку:

- Какъ нътъ? А мнъ только что сейчась сказали, что дома.

Горничная неодобрительно посмотръла на ку-LITTON CO. LIBORE BY FATRA харку и замялась:

ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ.

— Скавали-то вамъ сказали... Сказать все можно... Только кто въ отвътъ-то?

Сильно звякнула на плитъ кастрюля, кухарка исчезла за облакомъ пара, а когда онъ разсъялся, она уже переступала порогъ изъ кухни въ комнаты, съ благосклоннымъ взглядомъ на меня, съ нелестными эпитетами для горничной:

— Подождите: я доложу. Фря всякая, а туда-же: кто въ отвътъ?! Много ты отвъчаешь. Побольше-бы работала!

Быть-бы здёсь и не такой перепалке, если бы тактъ горничной не подсказалъ, что счеты надо отложить до болъе удобнаго случая: съ высоком фрной усм фшкой она проскользнула мимо кухарки и, уже невидимая, еще разъ напомнила мнь и кухаркь, чтобы мы не забывались:

— Доклады не ваше дѣло. Ваше лѣло—плита. А на счетъ работы: побъгайте-ка вы къ парадному ходу!

Кухарка вернулась къ плитъ; горничная явилась черезъ минуту.

— Батюшка просиль обождать.

Я съ трудомъ сдержалъ тяжкій вздохъ!

Минутъ черезъ пять батюшка вышелъ-едва переступилъ порогъ кухни и спросилъ:

— Что угодно? и выпражения представля в не

Тонъ былъ холодный; взглядъ тоже не изъ пріятныхъ: стояли мы другь отъ друга шаговъ на десять—съ такого разстоянія онъ меня изм'ь-ряль съ головы до ногъ.

Года на три-на четыре я постарътъ, износился въ тъ четверть часа, которые пережилъ въ кухнъ писателя.

Большими и серьезными глазами я хотъль смотръть на міръ и върилъ, что тъ, которые зовуть къ духовному свъту, къ добру, къ любви, охотно окажутъ мнъ нужную поддержку, но четверть часа въ кухнъ писателя безповоротно убъдили меня, что люди высокія стремленія цънятъ только въ томъ человъкъ, который у нихъ ничего не проситъ!

Мы захлебываемся въ восхищеніяхъ о талантливыхъ самородкахъ, мы изнываемъ въ соболъзнованіяхъ о гибели этихъ самородковъ подъгнетомъ нужды, но Боже упаси самородка, если онъ вообразитъ, что ему должны помочь: мы забудемъ свои прекрасныя слова и дъломъ своимъ дадимъ ему почувствовать: «Осади назадъ! Туда, въ тъму невъжества и когти нужды, туда, гдъ ты задыхался!»

Въ четверть часа я пережилъ бездну самопрезрѣнія и испыталъ на себѣ ядовитое жало человѣко-ненавистничества—и не ушелъ, выдержалъ, ибо во мнѣ была надежда, что гдѣ то существуетъ Горькій, человѣкъ, который не будетъ измѣрять взглядомъ человѣка съ разстоянія десяти шаговъ; и не ушелъ, выдержалъ, ибо во мнѣ кровь потомка крѣпостного раба. Медленно я на вопросъ батюшки началъ:

- Я къ вамъ по дѣлу. Или вѣрнѣе: съ просьбой...
- Съ какой?
- Не просмотрите-ли у меня два небольшихъ разсказа?

Онъ молчалъ, Я почувствовалъ, что этого мало, что, можетъ быть, сейчасъ услышу: «У меня для этого времени нѣтъ. А вообще—это дѣло редакцій»—и поспѣшилъ добавить:

- Меня направили къ вамъ.
- Кто?
- Ваши читатели.

Это была ложь, ложь рожденная моментально въ мучительности униженія, ложь претворенная въ тонкій вопросъ:

- А ну, г. писатель, покажите-ка, насколько у васъ развита отвътственность передъ читателемъ за то, чему вы его учите?
- Странно... Читатели?—съ недоумѣніемъ произнесъ батюшка, потомъ холодно пожалъ плечами и пригласилъ слѣдовать за нимъ.

Черезъ двѣ минуты онъ усадилъ меня въ своемъ кабинетѣ около письменнаго стола, усѣлся самъ—и попросилъ:

- Разскажите о себъ поподробнъе.
- Я началь, но сейчась же запнулся.
- Ничего. Вы не стъсняйтесь, сказалъ онъ и подбодрилъ меня мягкимъ, ласковымъ взглядомъ. Легки свои страданія, когда ихъ разсказы-

ваешь лицу, которое дастъ почувствовать въ себъ человъка. Свободно, непринужденно, съ улыбкой примиренія я разсказывалъ вкратць о томъ, какъ жизнь искальчила до 26 лътъ, поставила на острую грань, гдѣ за жизнь безъ помощи людей не уцъпишься.

МИХАИЛЪ СИВАЧЕВЪ.

Онъ слушалъ съ довольно деликатнымъ пріемомъ: на меня не глядълъ, но слушалъ внимательно, — и не только то, что говорится, но изучается и интонація голоса.

Я кончилъ и заключилъ:

— Милостыни я не хочу; ею жить тяжело, да и жизни безъ цъли не принимаю. Но если найдете у меня дарованіе и захотите поддержатьподдержите меня до конца.

Онъ спросилъ:

— Сильно вы больны?

Я молча показалъ ему обезображенную ревматизмомъ руку.

Онъ немного подумалъ:

— Хорошо. Оставьте свои разсказы. Я просмотрю и дамъ отвѣтъ.

Вынулъ я изъ кармана пальто двъ тоненькихъ тетради, —тъ которыя были уже оплеваны редакторами «Нижегородскихъ газетъ.»

— Вы гдѣ живете?

Я сказалъ.

— Сюда, человъку вашего здоровья, трудно фхать. Отвътъ я вамъ дамъ письменно.

Я поблагодарилъ и всталъ, чтобы идти.

Онъ взглянулъ на мон тетради и остановилъ: — Подождите немного, — и вышелъ изъ кабинета. Вернулся минуты черезъ три со стаканомъ кофе и хлѣбомъ: - вотъ, нейте пока кофе, а я, приблизительно, ваши вещи просмотрю сейчасъ.

Выбралъ расказъ поменьше и углубился въ него. Я оглядывалъ его кабинетъ. Ничего лишняго: большой письменный столь, заваленныя книгами и гранками, у стола два (занятыхъ нами) кресла. одна ствиа заставлена шкафами съ книгами, около камина-большой обтянутый черной кожей, диванъ.

Ничего лишняго -- но масса свъта, ують той богатой, солидной простоты, которая не коробитъ кричащей безвкусицей.

Онъ просмотрѣлъ первый разсказъ и бросилъ: - Да, наблюдательность есть. Эту вещь могутъ напечатать въ газетахъ.

Я промодчалъ. Я былъ подавленъ обиліемъ книгъ: какая бездна знанія туть—а онъ все это прочиталь, а что читаль я?

Онъ принялся за другой разсказъ и, когда кончилъ его, заявилъ:

— Вотъ здъсь настоящая искра есть. Этотъ я могу устроить въ «В. Т.» Вы сколько за него затинукоп ид икатох

Я подумалъ, припомнилъ гдф-то прочитанное, что минимальный гонораръ за печатный листъ 75 рублей — мой разсказъ быль около печатнаго

листа, и страшно мнѣ было назвать эту скромную цифру:

— Рублей 50 дадуть?

— Нѣтъ, 50 не дадутъ. Рублей 25. Журнальчикъ не большой. Подписная цѣна—рубль въгодъ; подписчиковъ всего 6000—дороже платить не въ силахъ.

И точно желая утъшить меня въ томъ, что мнъ нельзя получить 50—послъ короткой паузы добавилъ:

— Все, конечно, въ свое время приходитъ. Въ газетъ «Р. С.» есть сотрудники, получающе по 50 копъекъ и даже по рублю за строчку—но это уже имена. Вообще, начинающему на первыхъ порахъ у насъ трудно.

Я быль на седьмомъ небѣ. Что этоть добрый человѣкъ говоритъ: «Трудно»?!

Я забыль всё шипы, на которые налетель до батюшки—я въ эти минуты чувствоваль одно: «Чего я знаю? Какой я писатель? Чёмъ я заслужилъ»?

И радостно лепеталъ:

— Что вы! Да для меня и 25 рублей—ошеломляющая сумма. Эту вещь я писаль четыре дня. Подумайте, что значить для человъка 25 рублей за четырехъ-дневный трудъ, который помнить, какъ онъ работалъ за 10 копъекъ въдень.

Онъ удивился:

— Такъ мало? Такая эксплоатація?

— Да. Но прежде, чъмъ получать 10 копъекъ—нужно два года проработать безъ копъйки.

Онъ покачалъ головой:

— Такая эксплоатація.

Помолчалъ и предложилъ:

— А полечиться не хотите?

Я высказалъ, что, какъ не хотъть, но выразилъ и сомнъніе, что, пожалуй ничего не выйдеть: болъзнь застаръла.

— Все-таки, попытаемъ. Я вамъ дамъ къ одному профессору карточку. Сходите къ нему.

Получилъ я карточку, поблагодарилъ и хотълъ идти, но онъ меня опять задержалъ:

— Обождите еще минутку.

Ушелъ и вернулся — протягивая мнѣ 25 рублевку:

-- Вотъ вамъ пока.

Этого я совсѣмъ не ожидалъ; денежный вопросъ былъ гдѣ то еще впереди, я не успѣлъ къ нему подготовиться, не пережилъ наединѣ такого рѣшенія, которое даетъ силу просить о такого уже рода помощи.

Неподвижно я стоялъ передъ батюшкой охваченный одновременно и мучительнымъ стыдомъ и безграничной благодарностью за отзывчивость.

— Не стъсняйтесь, не стъсняйтесь. Когда получите гонораръ за разсказъ — сочтемся.

Это было сказано тепло, задушевно — и уже окончательно порабощенный и растроганный до

глубины души, я молча приняль деньги, молча связаль себя съ этимъ человъкомъ чувствомъ: одно слово этого человъка, посылающее тебя на смерть—пойдешь не задумываясь.

Мы простились. Необузданный въ страданіи, когда поглощенный цъликомъ своими внутренними переживаніями не видишь впереди себя предметовъ и прешь на стъну, на человъка, я былъ необузданенъ точно также и въ радости: прежде я чуть не наткнулся на книжный шкафъ, потомъ пошелъ не въ ту дверь.

— Не сюда,— замътилъ хозяинъ:— Идите за мной.

Онъ вывелъ меня черезъ парадный ходъ и, прошаясь вторично, спросилъ.

— А у васъ есть еще разсказы?

— Есть. Посмотрю и, можеть быть, что нибудь выберу.

— Вотъ-вотъ. Выбирайте и приходите ко мнв. Можетъ, и изъ нихъ кое что будетъ подходящее.

На дворѣ уже наступали сумерки. День сырой, туманъ клубился надъ городомъ, порывистый, рѣзкій вѣтеръ пронизывалъ холодомъ, а я, какъ въ блаженномъ снѣ, ѣхалъ на коночныхъ клячахъ, потомъ на паровой конкѣ, видѣлъ массу то сѣрыхъ и кислыхъ, то злыхъ лицъ — многіе съ недоумѣніемъ, а иные съ ненавистью посматривали на меня: уже стемнѣло, вѣтеръ бушевалъ во всю и люди, очевидно, не понимали,

какъ можно сіять такъ, какъ я, въ такую тьму египетскую.

Я ѣхалъ домой и добродушно припоминалъ «рыцарей Нижняго»:

— Привътъ, вамъ, господа! Живъ еще Богъ въ душъ человъка — и когда встрътишь такого человъка послъ васъ — лучше и полнъе его опънишь.

Черезъ полторы недъли я явился къ батющкъ вторично: привезъ ему еще два разсказа. Пыл-кая молодость: одинъ былъ уже вновь написанъ.

Онъ встрътилъ меня ласковымъ, немного усталымъ взглядомъ и вопросомъ.

— Ну, какъ у насъ дѣла съ леченіемъ?

Я высказалъ, что былъ у профессора, но лечиться у него не приходится. Мыт нужны массажъ и водолечение — водолечебницы при этой больницт не имтется. Ходилъ по совту профессора въ общину «Краснаго Креста»—результатъ и тамъ неуттителенъ: лечение дорогое, 90 рублей въ мтсяцъ.

— Да, это дороговато,—отозвался батюшка:— Рублей-бы 30.

Немного подумалъ:

— А впрочемъ, туда, пожалуй, мнѣ можно будетъ устроитъ васъ безплатно.

Въ общинъ, кромъ сестеръ милосердія, муж-

скаго персонала въ родѣ фельдшеровъ не имѣлось, мнѣ нуженъ былъ общій массажъ, водолеченіе тоже требовало полной ноготы—и пришлось мнѣ говорить батюшкѣ, что тяжесть смущенія передъ женщинами я не могу пока себѣ представить.

Онъ выразилъ сомнъніе?

— Не можетъ быть, чтобы все дълалось сестрами. Должны быть, массажисты, при водолечени—служителя.

Я увърялъ, что нътъ. Онъ пошелъ справляться по телефону.

Вернулся въ не меньшемъ смущеніи, чъмъ я:

— И въ самомъ дѣлѣ. Странно! Ну, ничего. Я подумаю, куда бы васъ еще устроить.

Передъ моимъ приходомъ онъ что-то писалъ, — я передалъ ему разсказы и поспъшилъ было убираться во свояси.

- Уже уходите?
- Вы заняты.
- Это ничего.

Посмотрълъ на меня – меня знобило.

— Вотъ что. Выпей-те-ка стаканъ кофе, Продрогли вы. Онъ хорошо согрѣваетъ.

Отъ кофе я отказался и заявилъ, что лучше пойду на кухню и обогръюсь у плиты.

— Ага. Ну, идите.

Я пошелъ. Черезъ минуту и онъ навернулся — остановился у плиты, потеръ надъ ней руки и, предложилъ:

— Если кофе не хотите, выпейте чаю. Скоръе согръетесь.

Отъ чаю я не отказался. Онъ простился и вернулся къ прерванной работ в; но минуты черезъ три явился вновь и предложилъ мнъ пить чай въ комнатъ.

Я его понялъ и возражалъ:

— Но мнѣ и здѣсь удобно. Тепло — вотъ главное. Спасибо. Не безпокойтесь.

Онъ увѣрялъ, что въ комнатѣ тоже очень удобно и тепло, а потомъ взялъ меня подъ руку и мягко потянулъ за собою:

— Экій вы несговорчивый!

Привелъ въ небольшую комнату, усадилъ, исчезъ и явился минутъ черезъ пять со стаканомъ чаю, котлетой и яичницей.

Я искренно протестовалъ:

- Но я сытъ. Я ничего, кромъ чаю, не хочу.
- Ничего. Съвшьте. День холодный. Дорога вамъ дальняя. А отъ усиленнаго питанія внутренней теплоты бываетъ больше. Непремвино съвштье!

Я вооружился вилкой и ножомъ — онъ съ улыбкой простился:

— Наконецъ-то, покоренъ! *)

Съ этого дня, являясь къ нему, я ходилъ черезъ кухню безъ следа горькаго чувства: какъ

^{*)} Я дъйствительно былъ покоренъ—но чъмъ платится душа человъка впослъдствін за такую покорность?

свой человъкъ, который убъжденъ, что самолюбіе въ дапномъ случат ложно и, что не слъдуетъ отрывать отъ дъла прислугу бъготней къ параднымъ дверямъ. **)

Прошла еще недъля. Недъля того восторженнаго состоянія, когда все мое я жило чистой радостью, что въра моя въ человъка не уподобилась безплодному крику погибающаго въ пустынъ.

Я пофхаль къ батюшкъ въ третій разъ.

Бесъда началась объ одномъ изъ моихъ разсказовъ.

— Нѣкоторые герои неестественны, — заявиль онъ.

Я сознался, что есть типы съ натуры и есть вымышленные и, послѣдніе, должно быть, вымышлены неудачно.

— Ну, вотъ. Я такихъ людей хорошо зналъ: самъ родился въ кабакъ.

Вещь моя по тем' была аналогична съ разсказомъ Горькаго «Бывшіе люди».

Большими, тяжелыми шагами хозяинъ ходилъ по кабинету и говорилъ, что цѣнно должно быть въ искусствѣ; сказалъ кое что и о Горькомъ:

— Это талантъ, но онъ сломалъ себъ на бо-

сякахъ голову. Когда то я ему говорилъ: «Пойте своимъ голосомъ, хоть маленькимъ, но не будьте подголоскомъ. Ницшеанскій башмакъ для васъ узокъ». Не захотъль и пошелъ не потому пути.

Я жадно его слушаль. «Ницшеанскій башмакъ»,— что это такое? Ничего такого я не знаю — и горѣль страстной жаждой учиться, а рядомъ съ этой жаждой просыпалось безсильное отчаяніе: Не поздно-ли? Все лучшее для этого, кажется попадало, какъ осеннія листья и унесено бурей прошлаго. Не поздно-ли»?

Тяжкую усталость я носиль въ себъ оттого, что недугъ раздавиль мою самостоятельность, что внъ сферы зависимости мое существованіе невозможно и оттого, что весь пройденный мною путь — быль тъмъ скорбнымъ путемъ, который легъ на свътлыя стороны моей души черными тънями безнадежности.

Я смотрълъ на батюшку — на его крупную фигуру, на мягкое раздумье лица, на усталость, постоянно живущихъ мыслью глазъ, — и такъ котълось сказать ему:

-- Минуты у васъ—отдыхъ для меня за годъ, но эти же минуты—и источникъ новыхъ мученій. Какой я писатель? Что я знаю? Знаю только жизнь трудящихся, то, что подобно той слѣпой лошади, которая думаетъ, что она идетъ впередъ, а на самомъ дѣлѣ толчется на одномъ мѣстѣ: толчется и не видитъ что она вращаетъ одинъ и тотъ же, одинъ и тотъ же проклятый

^{**)} Крупицу элементарнаго такта и минутную вспышку любви къ ближнему, я по молодости, принялъ за фактъ, что на тебя не смотрятъ сверху внизъ.

кругъ только за одинъ кормъ, только за жалкое право своего существованія до тѣхъ поръ, пока на этомъ кругу не упадеть.

Я изъ числа упавшихъ, изъ числа, можетъ быть, къ несчастью своему, немного прозрѣвшихъ, но сильно отравленныхъ. Страшно по временамъ касаться къ дѣлу писательства съ такой душой. Смутно чувствую, что есть что то, что есть «святая-святыхъ жизни»—но что? Страшно думать объ этомъ, когда не увѣренъ, что можешь отличить святое отъ низменнаго, пѣлесообразное отъ безцѣльнаго, вѣчное отъ бреннаго. Научите! Ибо тяжко жить душѣ, когда она цѣликомъ ни во что не вѣритъ, никому не молится.

Такъ хотълось сказать, но боязнь, проклятая боязнь человъка лишеннаго свъта знанія, вынужденнаго блуждать въ потемкахъ и находить выходъ исключительно только своимъ разумомъ и своими чувствами—такая боязнь сковала мои уста: Что такое я—дикарь; а вдругъ выналишь какую нибудь глупость?!

И я ограничился тъмъ, что попросилъ книгъ, и спохватился, что слишкомъ надолго оторвалъ батюшку отъ работы.

Простились. Батюшка вынулъ изъ кармана и протянулъ мнъ 25 рублевку.

— Вотъ вамъ еще на расходы.

Я взглянулъ ему прямо въ глаза совершенно свободно.

— У меня еще тъ не вышли.

- Ничего, ничего. Сочтемся. Питайтесь лучше. Это вамъ необходимо. А потомъ—комната у васъ какова?
- Комната незавидна. И холодновата, и сыровата.
 - Ну, вотъ, перемъните на хорошую.

Я молча пожалъ ему руку. Онъ отворилъ мнъ изъ кабинета дверь и, пропуская, сказалъ:

— Пишите. Изъ васъ что нибудь выйдеть. Какъ напишите новую вещь—приносите.

«Пишите».

Просыпаясь утромъ и сейчасъ же вставая съ постели—я мысленно повторялъ это слово.

— Пишите.

Ложился за полночь и засыпая, думаль все о немъ-же:

-- Пишите.

Оно мнѣ создавало повышенный дурманъ, подобный состоянію древнихъ экстатиковъ. Климатъ Петербурга былъ для меня недопустимый климатъ: мой ревматизмъ протестовалъ не только иногда прямо жесточайщими болями, но и прогрессирующимъ уродствомъ суставовъ.

Я буквально отказался отъ чаю и быкомъ пилъ—въ день стакановъ по 15,—настой изъ травы «Звъробой»: эта отвратительная бурда спасала меня отъ тъхъ обостреній, когда бо-

льзнь на нъсколько мъсяцевъ укладываетъ въ

Въ дни особенно сильныхъ недомоганій, когда упорная боль въ плечъ или въ кисти руки, отрывала на нъсколько времени отъ работы и вселяла въ душу тягостное чувство такого существованія—я бодро гналъ это чувство прочь.

Кому легче живется? Только тѣмъ, кто на несчасть другого съ легкимъ сердцемъ строитъ свое счастье, а остальные—всякій въ этой жизни несетъ свой крестъ и всякому онъ по своему тяжелъ.

Воть Катя, знакомая сестры, дѣвушка 28 лѣть, съ горячими синими глазами, въ глубинѣ которыхъ судорожно бьется тоска молодого тѣла, и постоянно нервной дрожью тонкихъ рукъ: она мужественно выдерживаетъ борьбу за существованіе, но мучительно недоумѣваетъ: «Къчему? Мнѣ мало быть сытой: я хочу отъ жизни и радостей. А радости то и нѣтъ. Кругомъ такая тупость и пошлость! Человѣка въ ней не вижу. Кажется, что если такъ еще года три проживешь—въ петлю полѣзешь».

Она горитъ и изнываетъ оттого, что не встръчаетъ хоть сколько нибудь достойнаго человѣка, которому можно было бы отдать свое первое чувство.

Вотъ Полина Семеновна, женщина 40 лътъ, мать четверыхъ дътей, умная, глубокая женщина, выстрадавшая въ жизни необыкновенное

чутье къ несчастью другихъ и необыкновенный тактъ, какъ къ несчастью другого подойти.

Когда она приходить ко миѣ, я напередъ знаю, что значить ее сильно проняло, но знаю такъ же и то, что не услышу изъ устъ ея ни одной жалобы на свое положеніе, гдѣ приходится изворачиваться не только за себя, но и за судьбу дѣтей.

Мы попьемъ чайку, иногда выпьемъ и «монопольки», мы потолкуемъ объ отвлеченностяхъ, но оба въ этихъ отвлеченностяхъ уловимъ, гдѣ и въ чемъ лежитъ скорбъ каждаго изъ насъмы потолкуемъ и неизбѣжно окончимъ бесѣду съ сознаніемъ: побольше мужества въ жизни!

Несмотря на свои сорокъ лѣтъ, на появляющуюся сѣдину въ волосахъ, Полина Семеновна носить въ себѣ какое то темное, смутное обаяніе, подобное власти обаянія лѣтнихъ темныхъ ночей.

И когда я прощаюсь съ нею, когда ощущаю въ своей рукѣ теплый, нѣжный атласъ ея руки и вижу ея хорошо сохранившуюся фигуру—я чувствую, что эта женщина далеко еще не изжилась, не износилась, какъ лучшіе годы молодости протекли безъ счастья, пошли на закалъ души: ей и теперь бы жить-да жить, но нѣть, поздно — это уже не женщина, а фанатикъ, гордо бросающій вызовъ всѣмъ превратностямъ своей судьбы.

Вотъ сестра. Видъ ея у меня иногда вызы-

ваеть улыбку. Жизнь ее немного по головкъ погладила—и зубы ея не такъ уже напряженно сжаты. Все чаще и чаще на ея лицо набъгаетъ улыбка - робкая улыбка, улыбка тихой радости.

МИХАИЛЪ СИВАЧЕВЪ

Она отдыхаетъ: не видитъ и не дрожитъ передъ пьяной рожей мужа, не живетъ боязнью за то, что за слъдующій мъсяцъ нечьмъ будетъ платить за комнату.

Большаго о ея переживаніяхъ я ничего не знаю. Она молчить, двигается по комнать не слышно и напоминаеть о себъ только тогда, когда замътитъ, что мнъ что нибудь нужно. Она молчить по недълямъ и вдругъ безъ всякаго повода заговоритъ со мной:

— Я такъ его боялась. Я думала, что онъ убьеть тебя, когда ты его станешь выгонять, а онъ такой трусъ оказался... Такой трусъ: заплакалъ и ушелъ.

Я смотрю сестръ въ глаза и вижу, что молодая жизнь, пожалуй, раздавлена совсъмъ: при сознаніи, что мужъ оказался жалкимъ трусомъу ней все-таки при воспоминании о немъ паническій страхъ.

Этими тремя лицами исчерпывались мои непосредственныя наблюденія, а приблизительныя... Я радъ, что передъ единственнымъ окномъ моей комнаты торчить брандмауеръ. Это представляеть извъстныя неудобства-онъ мнъ заслоняеть свъть, но за то создаеть иллюзію, иногда такъ необходимой замкнутости.

Я не увижу изъ своей комнаты гордыхъ, самодовольныхъ походокъ, важной надменной поступи и, безпечныхъ, съ печатью ничего не понимающаго идіотизма, кром себя, - гнусныхъ лицъ!

Вотъ имъ легко живется! Какъ бы быстро не катилось колесо жизни, колесо взаимнаго истребленія—наглость поможеть имъ всегда держаться на высотъ его.

И неужели такъ навсегда: задавленные необъединятся, не научатся различать подъ маскою друга смертельнаго врага?

Такъ, въ дни особенно сильныхъ недомоганій — я гналъ тягостное чувство изъ души прочь. И боль становилась менте чувствительной, потомъ исчезала совствиъ.

О, свято-върующая молодость, - какъ ты наивно поклонялась одному слову:

— Пишите!

Чего не сулилъ мнѣ этотъ пустой звукъ? Чудилась свътлая жизнь-путь свободный отъ гнуснаго торжища жизни, путь высшихъ чаяній души!

II3

1905 годъ.

Недолгій самообманъ, недолгое заблужденіе: тамъ, гдѣ дѣйствительность творится людьми, не уясняющими себѣ вполнѣ своихъ дѣйствій и поступковъ, тамъ атмосфера полна жестокихъ разочарованій: скоро создаются иллюзіи и скоро исчезаютъ. Тамъ человѣческая душа—игрушка: чѣмъ ни болѣе въ ней блеска, тѣмъ скорѣе ее разобьютъ.

Одинъ изъ моихъ—вновь написанный, – разсказовъ, батющка пытался устроить въ «Р. Б.»

Когда я писалъ его и, когда несъ къбатюшкъ—я боялся: «А вдругъ, закатитъ мнъ головомойку? Мальчишка, еще нигдъ не печатавшійся, и вдругъ, походъ на писателей съ именами? Что, если скажетъ: Это раненько, молоко еще на губахъ не обсохло»! И велика была моя радость, когда на мои вопросы: «Каковъ разсказъ?» И можно-ли его гдъ нибудь напечатать»,—я получилъ отвътъ:

— Ничего разсказъ. Напечатать можно.

Я высказалъ свои опасенія.

Батюшка благосклонно улыбнулся; спросилъ меня, что это за имена, и, замътилъ;

— Это ничего. Настоящія имена лицъ, вѣдь, не названы. *) А остальное, если въ рукахъ писателя печатное слово оружіе, то почему зарвавшихся молодчиковъ изъ писателей не бить этимъ же оружіемъ?

Немного помодчалъ:

— Я его отдаль въ «Р. Б.» Недъли черезъ двъ дадуть отвътъ.

Физіономіи «Р. Б.» я совершенно не зналь н побоялся за разсказъ уже только потому, что журналъ изъ толстыхъ.

Хотѣлось высказать свою боязнь, что разсказа моего въ такой журналъ не примутъ, что мало еще я поработалъ, но остановила мысль, что батюшка болѣе знаетъ меня, что дѣлаетъ.

Мои опасенія оправдались: разсказа не приняли. Неудача особенно сильно на меня не повліяла, а тутъ еще новый сюрпризъ: къ этому времени я написалъ еще разсказъ «Въ заводѣ», **) который батюшкѣ показался лучшимъ изъ всѣхъ, что онъ читалъ изъ моихъ вещей; онъ довольно потиралъ руки, когда высказалъ мнѣніе о немъ:

^{*)} Этоть разсказъ—разсказъ о моихъ похожденіяхъ въ Нижнемъ. Запомните, читатель: когда мы благотворимъ, мы далеко не прочь отъ обличенія въ жестокосердечіи другихъ!

ээ) Этотъ разсказь претерпълъ большія мытарства, былъ роковымъ въ переломахъ моей судьбы н, поэтому я даю его названіе.

— Хорошій разсказъ! Жизненный. Содержательный. Впечатльній много. Я васъ устрою въ «Р. С.» Тамъ будетъ постоянный заработокъ.

«Устрою»—это звучало полной увъренностью. И какъ не върить было мнъ: батюшка быль тогда въ молъ.

Меня это, какъ наивнаго провинціала, — думаю, что кромѣ меня, и многихъ, — ослѣпляло: казалось, что батюшка въ той газетѣ, куда обѣщалъ меня устроить, первая сила.

Но... это «Устрою» было послѣдній иллюзіей, давшей мнѣ извѣдать только сладость головокруженія.

Тхалъ я домой и пробовалъ сомнъваться:

— Все имена, крупныя имена... въ этой газеть и вдругъ я! Ужъ не ослышался-ли? Да нътъ. Если бы сказалъ: «попытаюсь устроить». Тогда бы—бабушка на двое сказала. А то, въдь, прямо, безъ оговорокъ: «Устрою».

На другой день батюшка увхаль туда, гдв издавалась эта газета; вернулся черезъ недвлюдля насъ обоихъ наступила расплата. Сообщать объ этомъ мнв, батюшкв, очевидно было тяжело: онъ не глядвлъ на меня и отрывисто бросалъ:

— Въ «Р. С.» неудача. Я сомнъвался, что разсказъ «Въ заводъ» — будетъ дебютирующій разсказъ. Вышло иное. Это для меня полная неожиданность,

Я быль сразу раздавленъ.

- Можетъ быть, мит совствить не надо писать? Бросить писать?
- Ну, вотъ. Пишите. Начинаещему на первыхъ порахъ вообще трудно. На эту неудачу особенаго вниманія не обращайте: она не показатель непригодности разсказа. Тамъ на такія вещи иные взгляды—и только. Примиримся съ этимъ. Вамъ нужно подыскать какое нибуль подходящее мъсто. На этотъ счетъ...

Я не далъ ему договорить—безнадежно отмахнулся рукой и сказалъ:

- Трудно на это надъяться. Здоровыхъ людей много, а я что?
- Трудно, словъ нѣтъ. Но эту заботу я возьму на себя.

Я ожилъ, поблагодарилъ батюшку и отправился домой. Перспектива собственнаго заработка улыбалась лучше, чъмъ брать деньги у батюшки, не зная,—вернешь-ли ихъ когда.

Насчеть мѣста я долженъ быль навѣдаться черезъ двѣ недѣли. Томительно шло это время. Оть неудачь— писательскій дурманъ схлынулъ: не могъ уже писать слѣпо, какъ раньше, не зная, что въ твоемъ трудѣ цѣнно и, что негодно.

За письменнымъ столомъ я просиживалъ не меньше, чъмъ и до этого—но на бълый листъ бумаги, иногда за цълый день не заносилось ни одной строки.

Собственными силами я хотълъ научиться «чув-

ству мѣры», художественному чутью и падалъ отъ непосильности такой задачи: слишкомъ мало работалъ, и слишкомъ сильно давила зависимость.

Сознаніе мутилось отъ тоскливаго напряженія—и когда я пофхаль къбатюшкѣ, я рѣшилъ просить его объ указаніяхъ.

Съ первыхъ же словъ батющка навелъ рѣчь на то, гдѣ я въ бытность рабочимъ бывалъ, въ какихъ заводахъ работалъ н, когда я разсказалъ, онъ мнѣ предложилъ:

— Знаете что? Напишите мнѣ все: гдѣ работали, какіе гдѣ порядки, что вамъ пришлось пережить. Пишите, незаботясь о литературности— это мнѣ послужитъ матеріаломъ, который я обработаю самъ Согласны?

Еще бы мнѣ не согласиться!

— Ну, вотъ. Пишите, а я вамъ за это заплачу дороже, чъмъ бы заплатили редакции.

Я высказалъ, что платы мнѣ не надо, что я безмѣрно доволенъ и тѣмъ, что выпадаетъ случай быть полезнымъ, а потомъ повѣдалъ и о своихъ «мукахъ слова».

Онъ живо отозвался:

— Это хорошо. Кто изъ нишущихъ собою всегда доволенъ—отъ того проку мало. Это хорошо, но вотъ статья: сдълать вамъ тѣ указанія, о какихъ вы просите, я не могу. Для этого нужно читать ваши вещи вмѣстѣ, а у меня на это время нѣтъ. Дѣлъ по горло.

Помолчалъ, Посмотрълъ на меня и, должно быть, я имълъ очень убитый видъ, когда ему захотълось меня утъшить:

— Очень-то не огорчайтесь. Можетъ быть, какъ нибудь и урвемъ для этого свободный денекъ.

Я повърилъ «въ денекъ» и, энергично засълъ за матеріалъ для батюшки. Черезъ недълю доставилъ ему половину, а еще черезъ три дня заъхалъ узнать: какъ ему этотъ матеріалъ кажется, будетъ-ли годенъ.

— Это внѣ сомнѣнія. Пишите еще. Пишите включительно до того времени, когда не въ силахъ уже стали работать. Я изъ этого матеріала думаю создать большую вещь.

Черезъ недълю я привезъ остальное. Всего было около шести печатныхъ листовъ, — это въ чериъ, крайне сжато.

Я хорошо понималь: почему такой матеріаль понадобился баштюкъ. Было начало февраля 1905 года—Гапонъ своимъ историческимъ шествіемъ во главъ рабочихъ пробудилъ интересъ къ пролетаріату.

И хотя у меня у самого бродила мысль использовать то, что пережито въ бытность рабочимъ, ради батюшки я отказался отъ этой мысли съ радостью. Прошелъ февраль. Наступилъ мартъ. Самочувствіе становилось отчаяннымъ: ревматизмъ не дремалъ, писательскій дурманъ исчезъ безслѣдно, ибо на его мѣсто явилась проза: денегъ мнѣ уже не предлагаютъ, а я просить не могу!

Безъ иллюзій, безърозовыхъ самообмановъ я все чаше и чаще становился лицомъ къ лицу съ жестоко-лживой дъйствительностью. Были за это время съ батюшкой ръдкія встръчи—тъ темныя, недоговоренныя встръчи, послъ которыхъ на душу падаетъ тяжесть, что тобою, кажется, тяготятся, тъ встръчи безъ мужества—взглянуть на тебя прямо, сказать тебъ правду.

Глаза батюшки опущены или внизъ, или устремлены въ сторону, голосъ сухъ, оффиціаленъ. Каждый разъ меня порывало объясниться на чистоту, высказать, что если желаніе помочь становится уже тягостнымъ, вынужденнымъ, то я такой помощи не принимаю—и каждый разъ меня останавливало деликатное чувство, что я могу оскорбить человъка, заподозривъ его въ томъ, о чемъ онъ и не думалъ.

Ждалъ я отъ батюшки одного: мъста. И вся-кій разъ слышалъ одно:

 Ищу. Но пока ничего подходящаго для васъ нѣтъ.

Иной разъ добавитъ:

— Время для этого у меня маловато. Но не безпокойтесь очень: что нибудь да подыщемъ.

Я говорилъ что въ моемъ положении не до

выбора: рублей на 25 на 30-и это для меня благо.

И ѣхалъ домой.

Бхалъ съ чувствомъ безнадежности и въ то же время не допускалъ, что изъ одного только малодушія меня водятъ за носъ.

Нельзя было въ это повърить. Въдь, я читалъ Д. Я читалъ и не забылъ то, что является при обстановкъ: сытые и обезпеченные люди сидятъ въ комфортабельномъ уголкъ, сидятъ за столомъ полнымъ деликатессъ изъ винъ и закусокъ, сидятъ и бесъдуютъ, умиляясь благородствомъ другъ-друга, ибо жизнь, подлинная, бъдная, убогая, проклятая жизнь отъ нихъ въ это время безконечно далека, ибо они другъ въ другъ не нуждаются, а если таковое и случится — кому неизвъстно, какъ охотно, съ какой радостью открываются кошельки кредитоспособнымъ друзьямъ?

Я читалъ и не забывалъ Д., который о батюшкъ писалъ, что это «священникъ Бога живого»

Я читалъ въ то время, когда еще жизнь не научила меня понимать психологію буржуа, когда еще не дала мнт той остроты зртнія, которое за пышными и красивыми фразами видитъ мерзость запусттнія.

Дома меня встръчала сестра:

- Ну, что? Ничего еще?
- Ничего.

Пока я снимаю пальто, она зорко следить за

122

моими руками: не выну-ли изъ кармана денегъ и не положу-ли на столъ, какъ это всегда дълалъ, когда являлся съ деньгами.

Съ щемящимъ сердцемъ я вижу ея разочарованіе, слышу ея тихій, подавленный вздохъ: завтра она пойдетъ въ ссудо-сберегательную кассу за деньгами!

Оказалось, что часть свою съ продажи дома, она всю не прожила, какъя потздкой въ Нижній: ревниво до моего прітізда хранила 75 рублей-сумма, которая ей сулила спокойную жизнь:

— Съ машиной работу дома всегда имъть можно. Безъ машины, какъ безъ рукъ. Жди, пока тебя позовуть. Ждешь мъсяцъ, а позовуть-отработала недѣлю, а потомъ опять ждн. Сколько разъ своему дураку говорила: не пейи поправимся! Не слушалъ. Ну и мучилась: сидишь бывало голодная и думаешь: будь бы машина—не голодала; деньги на машину есть—купить нельзя: живо стащить и пропьеть. Иногда прямо молила: хоть бы издохъ, пьяница, поскоpre!

Вздыхаеть сестра. Тяжко ей разставаться съ деньгами на машину-но в фрить она въ батюшку.

- Ну, смотри. Я возьму еще. Но когда ты получишь мъсто-не забудь меня: верни сколько я взяла.

И еще встръча-послъдняя. Три позорныя минуты!

Сунулъ мнъ батюшка мои три разсказа.

- Вотъ что. Сходите-ка вы съ этими разсказами къ Б. и въ «Б. В.» къ И. Скажите, что отъ меня. Можетъ быть, они у себя эти разсказы устроятъ. Да кстати, побывайте въ «В. Т.» Странно: вашъ разсказъ я отдалъ туда давно, а онъ до сихъ поръ почему-то не напечатанъ.

Я выслушалъ и спросилъ:

- А насчетъ мѣста ничего утѣшительнаго?
- Пока ничего.

Потомъ тономъ полувопроса и полуутвержденія батюшка бросилъ:

— Денегъ у васъ нѣтъ...

Я молча наклонилъ голову. Онъ далъ мнъ 15 рублей, и вставая, протянулъ руку:

— До свиданія! Извините. Ъду сейчасъ. Спѣшка.

На другой день я потхалъ въ «В. Т.» Путь изъ Лъсного до Гороховой не близкій; погода и для Петербурга на ръдкость скверная, - сильно болъли ноги, но до редакціи я добрался бодро.

Тамъ меня ждало нѣчто. Выслушалъ редакторъ суть моего посъщенія, порылся въ столъ н, заявилъ:

- Никакого разсказа отъ него ко мит не поступало.

Я возразиль, что не можеть этого быть, ибо батюшка говориль, что разсказъ сдаль давно и удивляется: почему онъ до сихъ поръ не напечатанъ.

Редакторъ улыбнулся:

— Удивляется? Ну, это для меня не удивительно. Разсъянъ онъ очень. Въроятно, только думалъ сдать къ намъ разсказъ—и забылъ.

Я молча поклонился редактору и вышелъ изъ редакціи въ сильно-угнетенномъ состояніи духа. Сразу ощутилась вся сила недомоганія и обратный путь домой казался непосильнымъ, невозможнымъ. Я стоялъ передъ дверью редакціи, облокотившись на перила лъстницы, и видълъ улыбку редактора и повторялъ его фразу: «Разсъянъ онъ очень».

И хотя сознаніе мое говорило мнѣ, что фактъ ненахожденія въ редакціи разсказа — самъ по себѣ ничтожный фактъ, изъ за котораго не стоитъ волноваться, что нѣтъ ничего проще выяснить это недоразумѣніе, какъ вернуться въ редакцію и по телефону переговорить съ батюшкой—я все-таки не двигался съ мѣста: ропотъ изнемогающаго отъ мукъ тѣла властнѣе сознанія внушалъ, что всякія переговоры безплодны, что полоса истинно-человѣческаго отношенія кончилась, что наступила другая—полоса безразличія, равнодушія, то, что уже неспособно чувствовать свою жестокость, то, что уже не можетъ содрагаться передъ страданіями человѣка.

Припомнилось то участіе, проявленное, когда я къ батюшкъ явился въ первый разъ: «Сюда,

человъку вашего здоровья, трудно ъхать. Отвътъ я вамъ дамъ письменно». Тогда, значитъ, понималъ, предусмотрълъ облегчение, а теперь... путь до Гороховой для меня вдвое больше, чъмъ до Новой деревни? Посылать такую развалину, когда есть телефонъ? Развъ не ясно: прошло столько времени, а что сдълано положительнаго?

Я началъ спускаться съ лъстницы. Нужна была боль духа, чтобы побороть власть боли тъла.

Съ потемнъвшими глазами, я пересаживался съ конки на конку, лъзло мое горе по витымъ и крутымъ лъстницамъ на трехъ-копъечныя мъста—человъческая подлость и пошлость добивала и тутъ:

— Да лъзъте же. Не задерживайте другихъ!

— Вотъ она жадность то! Ъхалъ бы за пятакъ, коли Богъ убилъ, но нътъ—претъ на экономію.

Мутилось эрѣніе, невидящимъ взоромъ я блуждалъ по лицамъ оскотинѣвшихъ и дико озлобленныхъ рабовъ города—и рядомъ съ отвращеніемъ къ нимъ, появлялась жалость:

— Не въдають, что творять.

Но тамъ, въ полѣ внутренняго зрѣнія, стоялъ человѣкъ, —прославленный, поднятый выше толпы, одинъ изъ числа лучшихъ людей своей страны, —которой поднималъ во мнѣ бурю разнородныхъ чувствъ,

«Вотъ они эти учителя жизни... Гремящіе успъхами своихъ бесъдъ даже въ Маріинскихъ дворцахъ, —величественные и многомогущіе издали, а вблизи—прошло нѣсколько мѣсяцевъ, а что въ результатѣ? Только пока слова, за вѣру въ которыя жестоко расплачиваешься, только пока благія обѣщанія – благія обѣщанія претворяющіяся въ дѣйствительности въ издѣвательство надъ загнаннымъ человѣкомъ».

Когда я добрался до дому и немного отлежался—я раскаялся: «Эхъ, голова. И неблагодарная голова! У человъка по горло дълъ, не трудно о какомъ то разсказъ и забыть—и на одномъ этомъ строить Богъ знаетъ какое обвинение!»

Я раскаялся, но отъ безотчетнаго чувства какой то тяжести, отъ странно повышеннаго состоянія нервъ отдълаться не могъ.

Было нѣчто похожее на то, что бываетъ съ людьми, страдающими грозо-боязнью: напрасно они смотрятъ на небо и не видя никакихъ зловѣщихъ признаковъ, увѣряютъ себя, что тревога безосновательна, что небо ясно, но какъ бы они себя не увѣряли — глухое и тягостное предчувствіе ихъ не оставитъ.

Мучительно хотѣлось скорѣе разсѣять это состояніе, но ревматизмъ настолько разошелся, что о поѣздкѣ къ батюшкѣ неч го было и думать.

Я написалъ письмо—съ просьбой извъстить меня, въ какомъ положеніи вопросъ о мъстъ. Отвъта не было. Прождалъ я его цълую недъ-

лю, каждый день утѣшая себя, что онъ очень занятъ, разсѣянъ, что если не ныньче, такъ завтра, но онъ отвѣтитъ, а безпокойство все росло и, наконецъ, я не выдержалъ.

И путь до Новой деревни—это было самоистязаніе не столько во имя самосохраненія, сколько во имя въры въ человъка.

Когда я добрался до особняка, передъ которымъ бѣдняки испытываютъ смущеніе, и когда оказалось, что «батюшки нѣтъ дома», а на мой вопросъ, когда онъ будетъ, я получилъ отвѣтъ: «Теперь долго не будетъ. Уѣхалъ до осени»—я прислугѣ не повѣрилъ и письменно попросилъ свѣдѣній у «матушки».

Она мит на жалкомъ клочкт бумаги отвтила:

«Уѣхалъ заграницу. Пасху намѣренъ провести въ Старомъ Іерусалимѣ; въ Петербургѣ будетъ не раньше осени или зимы».

Мое безпокойство сразу разрѣшилось. Тихо, чудовищно-пусто на душѣ, тѣло мое—до такой степени упало самоощущеніе—не мое тѣло, ни мысли, ни чувства, кромѣ одного ощущенія, что на такое извѣстіе ты реагировалъ судоржно-искривленной улыбкой.

Я вышель изъ особняка, въ послѣдній разъ взглянуль на художественную рѣзьбу массивныхъ дверей и отправился во свояси.

«Ты нишій, -говорилъ я себѣ во всю доро-

гу: — Ты въ самомъ началѣ оговаривалъ, что не хочешь милостыни—но тебѣ бросали милостыню, а когда это надоѣло, тебѣ сказали: нишій, довольно, больше не дадимъ»!

Я поражался своимъ безразличіемъ и, повторяя тяжкія слова, желалъ воспламенить себя до гнѣва, до злобы, до проклятія, но тихо, чудовищно-пусто на душѣ, а въ мірѣ безконечныхъ ощущеній, одно ощущеніе: судорожно-искривленная улыбка.

Съ ней и домой пріѣхалъ. Не жаль было сестры, ея наивно-завѣтной мечты о машинѣ—вошелъ и прямо поразилъ:

— Вотъ и конець. Бросилъ на произволъ судьбы. Человъкъ ишушій помощи, ишушій того, чтобы его упавшаго подняли на ноги—мячикъ. Если не убито униженіемъ отъ одного, отъ другого, отъ третьяго желаніе жить—значитъ запасайся терпъніемъ, учись глотать униженія и перебрасывайся съ рукъ на руки.

Сестра поняла сразу—но тѣмъ забитымъ сознаніемъ, которое не сразу принимаетъ жуть дѣйствительности; она силилась сдѣлать спокойнонедоумѣвающее лицо:

- Бросилъ? Кто бросилъ? Говори толкомъ.
- Кто? Извѣстно кто-батюшка.

По ея лицу побъжала мелкая дрожь.

— Ты не шути. Какъ онъ можетъ бросить *).

А мѣсто то? Человѣкъ ждалъ-ждалъ—и вдругъ ничего.

- A очень, сестра, просто бросилъ: взялъ и увхалъ.
 - Ну, прівдеть.
- Конечно пріѣдетъ. Но не раньше осени или зимы.
 - «Осени или зимы»? А чѣмъ жить то?
- На этотъ счетъ, сестра, не мѣшало бы спросить батюшку.

Сестра на минуту замолкла. Потомъ—вспыхнули упреки, подавленныя слезы, сожалѣнія о томъ, что такъ глупо довѣрилась,—было то, что разъединяетъ кровныхъ, то что омрачаетъ скорбью воспоминанія о юности.

Я молча перенесъ эту сцену.

А на другой день, сестра сдълала открытіе:

- Черезъ недълю Пасха. Къ какому празднику онъ тебя такъ подвелъ? Я изъ своихъ денегъ больше ни копъйки не возьму: хоть какую нибудь старенькую машину на нихъ куплю.
 - Можешь, отозвался я.
- Конечно, могу. Но только, какъ же Пасха-то? Такой большой праздникъ... Неужели голодать будемъ?

Я молчалъ. Помолчала и она — и неръшительно предложила:

точно считала себя недостойной, касалась книгъ батюшки, данныя мнф, имъ-же.

^{*)} Бѣдная женщина: когда она приводила въ порядокъ мой письменный столъ, она съ такимъ благоговѣніемъ.

- Знаю: самъ ты не пойдешь. Но если хочешь—напиши женѣ батюшки, а я снесу? Можетъ, она что нибудь и дастъ: такой, вѣдь, праздникъ!
 - Сомнъваюсь.
 - Ну, а все-таки.

Не уважая «батюшки», я могъ не считаться и «съ матушкой».

Я сълъ и написалъ, что внезапный для меня отъъздъ батюшки, оставилъ меня къ Пасхъ безъ копъйки и, если матушка проникнется христіанскимъ милосердіемъ къ такому празднику—я, если обстоятельства дадутъ мнъ эту возможможность, верну матушкъ помощь съ благодарностью.

Сестра вернулась съ устнымъ отвътомъ:

— Ничего не дала. Прямо при прислугахъ мнѣ сказала: «Передайте брату, что батюшка помогалъ ему, сколько могъ; теперь помочь не можемъ». Я не помню, какъ я вышла. Ну, сказала бы одной, а зачѣмъ же при прислугѣ? Чуть-чуть я не сказала ей: мой братъ— не уличный нишій.

Я улыбнулся. Не было не малъйшаго чувства горечи: «матушка» за мораль своего «батюшки» не отвътственна!

Сестра тяжко вздохнула: жаль разставаться съ мечтой хоть о старенькой машинъ, а приходится.

— Можешь и не брать, - замътилъ я.

- А что же будемъ дълать?

- Ничего.

Сестра уныло отмахнулась рукой и полъзла за книжкой:

— «Ничего». Тоже скажеть. Не умирать-же. Очень много будеть чести!

Я съ удивленіемъ взглянуль на сестру—такая святая простота, а что изрекаетъ: «очень много будетъ чести». Она меня встряхнула: у меня было безразличіе, граничащее съ тѣмъ, когда легко рѣшаютъ, что жить не стоитъ. На минуту явилось бодрое чувство: «Неужели сдаваться? Моего отца на конюшнѣ драли, а вѣдъ, выжилъ, и умеръ, хоть бѣднымъ, но честнымъ человѣкомъ. Развѣ уже весь порохъ въ пороховницѣ?».

Но, когда я машинально подошель къ окну и брандмауеръ тупо всталъ передъ моими глазами, напоминая, что за нимъ городъ, то, что мнѣ не обойдти, это гнусное капище разнузданныхъ божковъ и униженныхъ, раздавленныхъ людей—исчезло бодрое чувство.

Припомнилась пора, пора здоровья, крѣпкихъ мускуловъ, пора, когда безъ копѣйки смѣло кочевалъ изъ города въ городъ, когда на алчность Капитала и жадность подленькихъ людей—отзывался незлобивымъ смѣхомъ: «Жри мое»! «Поставь на свѣчки»!—припомнилась эта гордая, независимая пора и голова безсильно склонилась внизъ.

Долго я стоялъ у окна, а когда отошелъво мнѣ опять заговорила кровь потомка крѣпостного раба.

Вновь я принималь душу щемящій темный путь «человѣка—мячика» уже безъ вѣры въ благородство «благодѣтелей», а со взглядомъ, гдѣ невольно вспыхиваютъ огоньки ненависти.

1

Дни до Пасхи и пасхальные дни—угрюмо и сурово проходилъ каждый день и, уходя, оставляль во миъ долю выпитаго за день яда.

Помимо воли мыслящее сознаніе, вибрирующіе напряженнымъ трепетомъ нервы—съ такими милыми качествами немыслимо закрыть глаза на уроки жизни.

Скрытая для другихъ, зіяющая для меня, моя рана больла неустанно, доводила моментами до той остроты, когда внутренне изнемогаешь, мечешься, падаешь отъ влитой въ тебя отравы и слъпо бросаешься на то, что кажется противоядіемъ: тянуло «къ наставленіямъ» батюшки, какъ алкоголика къ запою.

Минутами здоровое чувство говорило: что не надо касаться этихъ наставленій, этой морали сытаго буржуа въ рясѣ, но куда же: больной склоненъ поддаваться больше эксцессамъ своей бользин, чъмъ совътамъ врача.

Присядешь къ столу. Вотъ первое наставленіе: рецепты по Евангелію!

Еще не добрался до первой страницы, видишь только еще обложку, заголовокъ, но уже чувствуешь, что физіономія твоя искажена судорожно-искривленной улыбкой.

И боль негодованія, боль глубоко оскорбленной гордости, боль такъ желаемая, когда скверняющая лицо гостья появилась на немъ впервые,—эта боль приходитъ, кричитъ:

«Нищій! Какъ унизили? За что? Ты извивался подъ бичемъ недуга и никогда не заикнулся о помощи противъ немощи тѣла: оцѣнили-ли красоту такого страданія? Ты пришелъ за волшебнымъ словомъ, которое бы вздохнуло смыслъ и цѣль въ поиски твоего разума, тебѣ вмѣсто такого слова наглядно показали, какой позорный разладъ можетъ уживаться рядомъ съ совѣстью писателя. Воспѣваемый на бумагѣ отвлеченный талантъ-самородокъ неявляйся къ намъ въ реальномъ видѣ, ибо наша житейская, повседневная мораль—это: «Осади назадъ! Туда, въ тьму невѣжества, въ тиски нужды. Осади назадъ: нищій»!

Отвернешь обложку, заглянешь въ первую страницу, во вторую—все это уже знакомо, читано и принято на вѣру, что прекрасное въ этихъ строкахъ составное души писателя, неотдѣлимое отъ его совъсти—но увы и ахъ... уже страшно заглядывать дальше и отбросишь книгу.

«Первый пастырь, встрѣтившійся на твоемъ пути... Пастырь, варьирующій на тысячу ладовъ

притчу о заблудшей овцѣ... Пастырь, научившій тебя понимать, что «Евангеліе, какъ основа жизни» — это только красивая, возвышающая насъ теорія, непримѣнимая къ практикѣ въжизни: у жизни свое евангеліе—и притчи изънего, подобны притчѣ съ тобой».

Отойдешь отъ стола, побродишь по комнатъ, ляжешь на постель: когда боль претворяется въ самоистязующее наслажденіе—безъ боли нестерпимая тоска.

Это нѣчто вродѣ неугомонно-ноющаго зуба— и не лучше сдѣлаешь, когда его начинаешь изступленно раскачивать, творить безплодныя попытки вырвать пальцами—и все таки дѣлаешь.

— Нътъ, погоди. Есть еще рецепть спасенія «заблудшихъ овецъ».

Берется книга, перелистываются страницы и говорять, говорять, говорять...

Я читаю—и я доволенъ, я вознагражденъ! Читатель, върьте только такому писателю, котораго хорошо знаете лично: зная его, вы поймете, гдъ у него только поза и, гдъ его

истинное я. Въ противномъ случаъ, только, можетъ быть, изъ тысячи одинъ изъ современныхъ писателей не введетъ васъ въ заблужденіс.

Я читаю поучительную повъсть о томъ, какъ алкоголика спасають отъ его порока и направляють на путь истинный. Всъ въ этой повъсти какъ то сказочно быстро, безъ треній идуть къ возрожденію.

Я читаю такую повѣсть и думаю, что я не алкоголикъ, но что, можетъ быть, не далеко то время, когда... возъму я эти гимны добродѣтели, данныя мнѣ къ тому же самимъ авторомъ, и... катну за полбутылки!

О, эти измышленія кабинетнаго человѣка, книжнаго крота, знающаго многообразную муку жизни настолько, сколько можетъ дать книга, фантазія въ теплѣ и уютѣ своего кабинета, личныя наблюденія обезпеченнаго человѣка—тѣ наблюденія, когда сытое брюхо не понимаетъ голода, когда здоровое тѣло не можетъ почувствовать муки въ тѣлѣ крѣпящагося больного!

Но жизнь не кабинстъ, не книга, не самовлюбленная фантазія, наивно полагающая, что она спасаетъ человъчество; жизнь не смъется только надъ тъми творцами, которые побывали во всъхъ ея передълкахъ, а остальные—когда приходитъ къ нимъ сама жизнь, подлинная, настоящая, безъ прикрасъ—со всъмъ своимъ ужасомъ и свътлой красотой,—не поймутъ слъпые творцы ея скрытой красоты, а равно и ея кричащаго ужаса: все будетъ для нихъ надписью безъ смысла, крикомъ безъ значенія.

Я читалъ. Столько этихъ наставленій *), что меня начинала охватывать «словобоязнь».

Тогда я рѣшалъ, что на сегодняшній день довольно. Да уже и дню давно конецъ.

^{*)} Сколько ихъ было и будетъ еще послъ великой Жемчужины міра?!

Тишина. Бросишься въ постель: а можетъ, поутихнетъ? Иллюзія!

Тишина. Изъ сосъднихъ комнатъ—ни звука. Ничто не отвлечетъ. И вотъ тутъ-то опять учтешь: съ чъмъ ты пришелъ и, что тебъ дали?

Эхъ, молодость, плохо цѣнятся твои святые порывы: развернуть свои силы, небезплодно и не постыдно сгорѣть на огнѣ бытія!

Въ тишинъ ночи мнъ до ужаса ясно становилось, что за страстное самолюбіе я принесъ «къ первому пастырю»; не то ложное, что въ ущербъ человъку, ниже его достоинства, а то, что поднимаетъ личность, даетъ ей страсть напряженія въ поискахъ истиннаго, совершеннаго—то безконечно цънное, что жаждетъ Жизни и Человъка и въритъ въ жизнь и въ человъка кипучей кровью молодости, яснымъ, свътлымъ сознаніемъ, которое еще не растлъно жестокосердечіемъ, не тронуто человъко-ненавистничествомъ.

Я принесъ большое положительное—мнъ дали большое отрицательное.

Въ тишинъ ночи я ръшалъ задачу: положительное—отрицательное-дай Богъ, если остается половина положительнаго.

И такъ иногда порывало въ этой тишинъ крикнуть—пусть сочтутъ безумнымъ!—но крикнуть:

— Эхъ, вы, апостолы съ маленькой буквы, апостолы безъ паствы, учителя безъ учениковъ, апостолы— только съ большой аудиторіей, но съ тъми

жалко-ничтожными результатами, про которые Щедринъ сказалъ: «Писатель пописываетъ, а читатель почитываетъ».

Пописывайте, господа!

Прошли Пасхальные дни и неволя меня погнала на болъе широкое знакомство съ творцами литературной «Толкучки» *).

Темный, непросвъщенный—я долженъ былъ на горькомъ жизненномъ опытъ постигать, что литературная толкучка не такъ проста, а главное—такъ чудовищно далека отъ того, что мнилось моему честному сознанію дикаря.

Дистанція—огромная, подавляющая.

Я увидълъ, что «на толкучкъ» есть прилавки: чисто художественные, метафизическіе, научные; я понялъ, что каждый торгашъ разсматриваетъ человъка и душу его только съ точки зрънія содержимости своего прилавка: «Эй, человъче, все, что нужно для благодати твоей и для спасенія твоего — все у меня: двигайся ко мнъ»!

Тутъ и позитивисты и христіане, тутъ реалисты и крайніе индивидуалисты—однимъ словомъ я натолкнулся на такую неразбериху, точныя

^{*)} Есть въ одномъ провинціальномъ городѣ рынокъ, называемый «толкучкой», гдѣ торгуютъ исключительно завалью, старьемъ и, скверно, «на мальханъ сдѣданными» новыми вещами.

разграниченія въ которой для моего ума оказались не подъ силу: чтобы хорощо знать всв многочисленныя ярлычки, всв оттвики и различія всвхъ идущихъ подъ флагомъ искусства, для этого нужно летъ пять или десять сидеть въ кабинеть и читать откровенія всвхъ этихъ господъ. Но къ несчастью, а вмъсть съ тымъ и къ счастью, ибо, въдь, нътъ худа безъ дображизнь для меня была—не кабинеть, не спокойное сцъпленіе дней, мъсяцевъ и годовъ, когда не нужно лумать о кускъ хлъба на завтра, о кровъ на ночь.

Да, я по своему невъжеству не могъ знать всъхъ разграниченій между дъятелями «искусства» по при столкновеніи съ ними чутко улавливаль одну, встыть общую черту; смертельные враги за товаръ своихъ прилавковъ, какъ будто бы ни съ какой стороны не похожіе другъ на друга, эти господа, за ръдкими исключеніями, роднились этой общей чертой другъ съ другомъ, какъ двъ капли воды.

Когда я сталкивался съ ними, когда нужда своей страшной пятой давила мнѣ на горло и рвала крикъ: «Спасите»! я при видѣ этихъ господъ не только не могъ даже заикнуться о томъ, что я отчаянно нуждаюсь, но всѣми силами старался скрыть это.

Но какъ скрыть то, что нельзя скрыть, убогую, ветхую одежду, стоптанную обувь, истощенное недоъданіемъ и бользнью лицо и тоску глазъ—безпредъльную тоску человъка, который все болъе и болъе убъждается, что травля на него—травля на смерть, травля, гдъ нельзя крикнуть, что тебя вездъ и всюду только добиваютъ, травля,—забронированная кодексомъ лицемърной морали, травля, — порождающая безуміе и преступленія, травля, гдъ предсмертный стонъ добитаго замираетъ никъмъ не понятый, не услышанный?

Этого не скроешь—всѣ сколько нибудь видныя редакціи Петербурга я обошель и вездѣ встрѣтиль одинь и тоть же пріемъ. О, какъ милы въ этихъ редакціяхъ люди съ тѣми посѣтителями, кто облечень въ хорошій костюмъ, кто бросается въ глаза своимъ сытымъ дородствомъ, или изысканностью манеръ той утонченной жизни, на которую никогда не накладывалась проклятая печать истинной нужды!

Безконечно милы, неописуемо милы, и—безконечно, неописуемо жестоки къ тъмъ, которые безмолвно, однимъ своимъ видомъ напоминаютъ о непріятномъ: о долгъ человъка!

Говорять, что философія, это удѣль избран-

Это—ложь. Самые маленькіе, самые ограниченные люди—философы. И философіи не маленькой—философіи поставленной во главу угла жизни.

Философія за человъка—это бредни, это внѣ жизни, это только прекрасная абстракція на

141

бумагъ, а въ жизни самъ творецъ этой абстракціи забывает в красоту и уподобляется философу другого сорта: противо человпка.

МИХАИЛЪ СИВАЧЕВЪ.

Въ жизни-исповъдь звъринаго принципа, а пожалуй и ниже, ибо не дано міру животныхъ разума человъка. *)

И, вполнъ, мнъ кажется, естественно, что если творцы философіи за челов ка-въ дъйствительности противъ человъка-то, что остается тѣмъ, которые «не въ цѣхѣ» избранныхъ: развѣ они не въ правъ думать, что имъ-то такъ поступать и самъ Богъ вельлъ?

И вотъ, -- въ какую бы редакцію я не приходилъ-я встръчалъ одинъ и тотъ же пріемъ.

Неописуемо милые люди съ другими-эти же люди со мной, —давали мн наглядные уроки иск усства моментальных в превращеній.

Это-философы. Что имъ мои страданія, мой ужасъ, затравленнаго нуждою и бользнью человѣка, что имъ я-маленькій, незамѣтный, погибающій въ огромномъ городів, но не существуюшій съ ихъ точки зранія въ этомъ города, что имъ я, когда передъ мной такіе философы: у

всѣхъ моментально дѣлаются такія лица, которымъ не до меня, не до моихъ низменныхъ земныхъ скорбей, они живутъ абстракціей, они ушли въ созерцаніе вѣчныхъ идей, поднялись на такую высоту, гдт говорить съ ними о томъ, что ты живое существо, изнемогающее въ борьбъ за свое право жить-у нихъ такія лица, что говорить имъ объ этомъ, -- это значитъ сд влать не только см шной, неум стный, непростительный поступокъ, но и оскорбить ихъ пошлостью. И я не говорилъ, не заикался: отъ такихъ философовъ языкъ нѣмѣетъ.

Я не говорилъ, но у меня, въдь, имъются глаза: я видълъ, что за этой моментальной маской живеть такой же человъкъ, какъ я, что, если бы такого философа втиснуть въ мою шкуру, онъ не постъснялся бы волкомъ взвыть, что страданіе его-это не лживыя призраки, не фикція, а н'ычто очень реальное и непримиримовраждебное той проклятой философіи, которая учить на муку жизни смотръть съ холоднымъ безстрастіемъ.

Я видълъ такихъ господъ и уходя отъ нихъдумалъ:

— Вотъ-Діогены XX въка. Вмъсто бочки они имъють или страстно желають имъть такіе особняки, передъ чемъ бедняки должны испытать смущеніе, вмѣсто черепка-севрскій фарфоръ. Вотъ, Діогены бывшіе, настоящіе, раздавившіе міръ, милліоны паразитовъ-отнявщіе

^{*)} Извиняюсь передъ читателемъ за то, что я увлекся не въ свою область-это уже задача зоопсихологіи. Можеть быть, когда эта наука изучить внутренній мірь животныхъ и... вдругъ придетъ къ страпіному выводу, что человъкъ ниже звъря-простите читатель, я увлекся мыслью, что, можеть быть, тогда человъчество искренно покрасиветь и станеть лучше...

143

у милліардовъ людей послѣднее: развѣ въ сырые и темные подвалы бѣдняковъ заглядываетъ солнце?! Какъ низка и гнусна должна быть философія такихъ Діогеновъ, когда ее въ силахъ воспринять самые недалекіе, самые ограниченные люди: великое ограниченности не дается!

Въ первыхъ числахъ іюня я остался одинъ: уѣхала сестра. Мужъ ея поселился въ Финляндіи и написалъ ей, чтобы она пріѣзжала къ нему, что онъ теперь одумался — не пьетъ и впредь не будетъ.

Она показала мнѣ это письмо — я спросилъ: — Ты вѣришь?

Сестра покачала головой.

— Нѣтъ. Сто разъ такія объщанія слышала. А на слъдующій день — собралась и уѣхала.

Тяжки были послѣднія минуты. Съ потемнѣвшимъ лицомъ она собирала свои убогіе пожитки; движенія рукъ были порывисты, рѣзки, на меня невольно бросила нѣсколько косыхъ взглядовъ. Я крѣпился—нелѣпо было говорить объ этомъ и все таки не выдержалъ:

— Куда ты ѣдешь? На что?

Она оторвалась отъ сборовъ, взглянула мит прямо въ глаза — и глухо бросила:

- Разъ ѣду такъ, стало быть, знаю на что. Помолчала.
- Тутъ работы нѣтъ. У тебя тоже шичего

не выходить. Къ чему мнѣ здѣсь оставаться? А тамъ, можетъ быть, работа будетъ. Что онъ не броситъ пить — это я знаю. На него не натьюсь. Только на себя.

Еще помолчала — и съ глубокимъ вздохомъ:

— Будь бы машина—не по-вхала бы. Заказовъ нътъ — на рынокъ можно работать. Хоть и дешево, а все не безъ хлъба. Горе одно: при немъ деньги были—машины нельзя было купить; его нътъ—деньги прожиты.

Ахъ, эта машина. Я понурилъ голову. Невыразимо стыдно и тяжко было за себя и «за благодѣтеля въ рясѣ»: вотъ результатъ—мы отняли у бѣдной женщины машину, необходимое средство къ существоваванію!

Я было заикнулся о томъ, чтобы сестра на меня не сердилась:

— Пойми: вѣдь, меня обманули... Если бы я зналъ, что...

Она, обрывая меня, отмахнулась сурово рукой:

— Понимаю. Не маленькая. И зачёмъ объ
этомъ говорить? Легче отъ этого не будеть.
Вообще...

И не договорила. Слезы безумнаго сожалѣнія дрогнули въ ея голосѣ; поспѣшно она увязала въ узелокъ свои пожитки и протянула миѣ руку:

— Ну, до свиданія. Если... Богъ дастъ свидаться. Вмѣстѣ горе мыкать лучше, а ничего не подълаешь: приходится порознь. До свиданія!

Я не видъдъ ея лица, но чувствоваль тотъ

ужасъ, который видѣлъ въ ея глазахъ при воспоминаніи о мужѣ.

И съ тою тупостью, когда острота чувства раздавлена непосильностью переживанія, неуклюже думаль: «Вотъ ѣдетъ. На муку, на издѣвательство, а ѣдетъ. Вотъ, на что ѣдетъ».

Неслышно выскользнула изъ комнаты сестра и, какъ эхо, донесся изъ корридора ко мнѣ въ комнату ея голосъ:

— Да... совс'ємь забыла... Тамь въ столь... посл'єднія взяла и под'єлила...

Я открылъ ящикъ стола: на виду положени два рубля.

Въ состояни, когда не вполнъ отдаешь себъ отчетъ въ томъ, что дълаешь, я взялъ эти деньги, пару рукописей и отправился.

Невыразимо стыдно было за себя и за тогопо милости кого это случилось. И всю дорогу
я гнѣвно думаль: «Погоди, если не издохну, я
тебѣ напишу: Первый пастырь на моемъ пути,
ты сдѣлалъ меня участникомъ поступка болѣе
худшаго, если бы мы сняли съ нищаго
суму».

Вотъ редакція «Б. В». Туть человѣкъ, которому мнѣ разрѣшено было передать: «Скажите, что это отъ меня». Какъ это легко и какъ малодушно: бросить человѣка, не говоря ему объ этомъ прямо, а давая еще призрачную надежду: «можетъ быть, что нибудь и устроитъ». Бросить и отправиться въ Старый Іерусалимъ, чтобы про-

вести пасхальную ночь у гроба Господня *). И кто это такъ дѣлаетъ — ярый поклонникъ Толстого, того Толстого, у котораго есть разсказъ о двухъ мужикахъ, отправившихся въ Іерусалимъ тоже ко гробу Господню въ пасхальную ночь. **)

Я пру въ редакцію и осаживаю назадъ, когда мнѣ сторожъ говоритъ: «Сегодня пріема нѣтъ».

«Пріема нѣтъ». Не хорошо, если я обалдѣлъ до того: лѣзу въ ненадлежащіе дни.

Я немного обезкураженъ. Одинъ изъ моихъ разсказовъ г. А. И. уже читалъ и прислалъ мнъ такой отвътъ.

«Разсказъ мнѣ Вашъ нравится. Въ немъ — чистота чувства, знаніе быта, наблюдательность, отсутствіе манерности. Но помѣстить, къ сожалѣнію, я въ «Б. В.» его все-таки не могу. Для этого онъ великъ. Могъ бы я его устроить въ одинъ журналъ—но и тамъ препятствія: въ разсказѣ есть мѣста не для семейнаго чтенія. Буду радъ, если Вы мнѣ

^{*)} Объ этомъ писали въ газетахъ. Поймите, читатель, съ какимъ чувствомъ я долженъ былъ это читать, когда этотъ пастырь обрадовалъ меня къ празднику такимъ "краснымъ яичкомъ".

^{**)} Думаю, что большинству читателей этотъ разсказъ извъстенъ.—Жизнь, какъ ты иногда эло и жестоко шутишь!..

дадите для этого журнала вещь, по при условіяхъ: семейнаго чтенія и внѣшней сюжетности».

Когда я прочиталъ это письмо — на секунду у меня вспыхнуло бодрое, радостное чувство: «это пишетъ критикъ! Лицо, которое на томъ стоитъ, чтобы отличать въ литературъ шелуху отъ зеренъ».

Вспыхнуло и погасло.

«Внѣшней сюжетности» вамъ! Талантъ, энергія — все изнашивается въ безмолвіи, гибнетъ отъ незнанія: вы дадите мнѣ пустой, страшный для меня, звукъ: «внѣшняя сюжетность» — но не покажете, не научите, какія детали въ этой внѣшней сюжетности цѣнны и, какія — нѣтъ. Для искусства нужна подходящая среда, нужны сносныя условія существованія, нужны чуткіе люди, необходимые для начинающаго, какъ воздухъ, вы-же, вся ваша литература даете мнѣ атмосферу, гдѣ я ощущаю собственную смерть и ядъ вашихъ заживо разлагающихся труповъ»...

Теперь я ему принесъ маленькій разсказъ, «надъ внѣшней сюжетностью» котораго много ломалъ голову. И раньше были «муки слова», но эти муки были другого сорта: неумѣнье выразить словами нужное настроеніе, мысль, образъ; иногда даже и слова находились—являлась боязнь: какъ бы не хватить черезъ край.

Это частность, а въ общемъ - писалъ такъ,

какъ Богъ на душу положитъ. И полагалъ, что такъ и надо писать.

Но эта «вн вшняя сюжетность», — это требованіе отступать отъ того, какъ вещь выльется изъ души, требованіе уже — прізчаться къ манерности, раскрашивать содержаніе ловкими литературными оборотами, стилистическими эфектами, фейерверкомъ словъ, — это требованіе толкающее на путь эквилибристики мысли возмутило меня до глубины души: дайте намъ маленькую мысль, обрывокъ мысли, жалкій сколокъ чувства и загримируйте поэфектнъй въ хламиду лживыхъ словъ!

Тѣмъ, что пріема нѣтъ—я быль немного обезкураженъ: настроеніе было изъ такихъ, когда бы я не побоялся поговорить «о внѣшей сюжетности», а попутно высказать и то, что и потрясеніе нанесенное мнѣ велико и условія мои такъ тяжки, гдѣ не до игры словъ.

Отправился я дальше. Воть еще редакція.

Тутъ тоже человъкъ, которому мнъ разръщено передать: «скажите, что это отъ меня».

Здѣсь мнѣ удается застать нужное лицо. Но... результаты... около двухъ мѣсяцевъ назадъ я отдалъ два разсказа, навѣщалъ нѣсколько разъ по приглашенію: «Придите черезъ недѣльку. Непремѣнно прочту», а потомъ оказывалось, что все: недосугъ, некогда, своей работы много.

Недосугъ номѣшалъ просмотрѣть мои вещи и на этотъ разъ. Я прошу свои разсказы вернуть, ихъ куда то засунули и долго ишуть, на-конецъ, находятъ и говорятъ:

— Такъ, мелькомъ, я въ ваши вещи заглядывалъ. И вынесъ впечатлъніе, что вы начинаете не безуспъшно.

Я сурово гляжу на этого человъка и тонъ мой невольно ръзокъ:

— Г. Б., этого мнѣ не нужно. Когда я вамъ передавалъ рукописи, я говорилъ, что очень нуждаюсь; вы обѣщались «скоренько просмотрѣть и, если возможно, устроить».

Критикъ обижается:

Позвольте! У меня не только ваши рукописи, — у меня ихъ груда; наконецъ, своя работа. Странная претензія.

Я ухожу. Къ чему разговаривать: сытый голоднаго не пойметъ!

Куда же еще идти? Развѣ въ «Образованіе». Не стоитъ ноги бить. Предлагать человѣку моего положенія три мѣсяца на просмотръ рукописи—не стоитъ ноги бить.

Куда же еще? Въ журналъ «Н. П.» Предо-мной встаетъ знакомая фигурка.

Мить еще только 18 льть. Живу на своей родинть. Появляется въ этотъ городъ культурретеръ пролетаріата, апологетъ соціализма. Я первый рабочій, съ которымъ онъ знакомился, благодаря одной случайности. Онъ пичкаетъ меня книгами. Онъ внушаетъ мить, что рабочій—это стъна, которая должна остановить шествіе абсо-

люта. Онъ рисуетъ мнѣ, какое огромное зло—милитаризмъ и говоритъ, что борьба рабочаго съ этимъ зломъ должна быть поставлена на первый планъ: милитаризмъ—истощаетъ страну, платежныя силы населенія, пріостанавливаетъ культурный рость, тормозитъ осуществленіе рабочаго законодательства. Наконецъ, я какъ изъ сознательныхъ элементовъ, поэтому на мнѣ дежитъ неукоснительная обязанность помогать ему въ его дѣлѣ.

Я вѣрю, что долженъ помочь и знакомлю его съ рабочими. Какъ политически высланный въмаленькій городъ, гдѣ подобнаго, кажется, ничего не бывало, онъ для маленькаго города—пугало, таинственная фигура.

Но развъ подкупленная юность чего боится? Я охотно дълаю все, что онъ мнъ прикажеть, но когда его дъятельность развернулась шире—я позволиль себъ не согласиться съ его тактикой.

Рабочимъ, которые до этого читали только Еруслана Лазаревича и Бову-Королевича, онъ сразу началъ преподавать Маркса. Безъ разъясненій. Отхватитъ 30-50 страницъ—и уходи. Рабочіе уходять съ тупо-недоумъвающими лицами.

Потомъ тюками начали плавиться прокламаціи въ такую среду, которая не понимаетъ: почему она должна на требованіе жандармеріи отдавать ей эти бумажки.

Такъ и отвъчали:

- Есть, но не отдамъ. По какому праву я не могу читать?

Я позволиль себъ замътить такому дъятелю соціализма, что отъ такой тактики много будетъ безплодныхъ жертвъ, что рабочую массу можно только этимъ отпугнуть, не поставивъ дѣла на прочную почву.

Мнѣ дали понять, что я хоть «и сознательный элементъ», но не настолько чтобы учить «Главарей».

Я заблагоразсудиль от ь таких ь главарей отшатнуться.

И вотъ-встръча почти черезъ 9 лътъ.

Спрашиваю въ «Н. П.» секретаря журнала, Выходить человъче.

— Я-секретарь. Что угодно?

Глазамъ не вѣрю:

- Позвольте васъ спросить: вы не г. Р.
- -- Я. А что?

Всматривается въ меня черезъ очки, и, наконецъ, узнаетъ.

-- Какими судьбами?

Поясняю и излагаю вкратцъ суть посъщенія.

Объщается постараться всъми силами. Захожу черезъ недълю. Сунулъ равнодушно мн в мою вещь, зъвнулъ.

У насъ направление не то. Тащите въ «Міръ Божій» или въ «Образованіе» — тамъ возьмуть.

На «возьмуть» я надежды не питаю, но от-

казъ принимаю, какъ должное: что подълаешь, когда направление не то.

Любезно освѣдомляется:

— Какъ живете?

Я чистосердечно разсказалъ. Смъется человъче,

- Это плохо.

Взялъ меня этотъ смъхъ заживое. Смотрю на него: маленькій, черненькій и остренькій, какъ

смертный грфхъ.

Все тотъ же-безъ перемѣнъ. Какой былъ, такимъ и остался. Восемь съ лишнимъ лътъ срокъ не маленькій, а для него—на внѣшнюю сторону безъ вліянія. Восемь съ лишнимъ лѣтъа пять изъ нихъ пробылъ въ Устъ-Сысольскъ. Но что такое Усть-Сысольскъ для такихъ господъ? Перемъна мъста, совершонная съ помпой: ѣхалъ въ обыкновенномъ поѣздѣ въ сопровожденій жандарма, котораго везъ за собственный счеть! Тхаль съ большимъ багажомъ, съ дорогими ружьями: вотъ, гдф похоотиться!

О кускъ хлъба въ ссылкъ нечего думать: мученику за соціальное движеніе пришлють изъ дому денегъ сколько угодно.

Еще-бы, такая насильственная вынужденность: жизнь въ глуши, оторванность отъ культурныхъ центровъ!

Я смотрю на него, на то, что восемь съ лишнимъ лътъ, а онъ безъ перемънъ, и припоминаю многихъ, пострадавшихъ по винъ этого «главаря»: молодые люди, а посёдёли некоторые, сгорбилися по старчески за годъ-за два!

Голодъ—не тетка. Ходили жалкіе и униженно предлагали свой трудъ—и ихъ не брали.

Ходили и сожалѣли о тюрьмѣ: тамъ хлѣбомъ кормятъ. Пострадалъ и я: два года девять мѣсяцевъ провелъ на родинѣ безъ права выѣзда, безъ права труда.

Я смотрѣлъ на него и ждалъ: не вспомнитъ-ли онъ о тѣхъ, которые посѣдѣли, сгорбились, исчезли безслѣдно, а нѣкоторые даже трагически покончили съ собой.

Нѣтъ. Онъ, очевидно, забылъ. Забылъ обманутыхъ, забылъ соціализмъ, проповѣдь котораго когда-то ставилъ цѣлью своей жизни: онъ, должно быть, пришелъ къ убѣжденію, что воспріялъ мученическ:й вѣнецъ—и съ него довольно! Пусть другіе поработаютъ—а съ него довольно.

Онъ не вспомнилъ. Я прямо въ упоръ посмотрѣлъ ему въ глаза и безъ всякихъ подходовъ спросилъ:

— Займите мнѣ рублей десять. Будутъ—отдамъ; нѣтъ—на томъ свѣтѣ угольками сочтемся. Онъ набивалъ для меня папиросу—бросилъ, всталъ и протянулъ:

— Вотъ, ужъ не могу. Живу на то, что получаю здъсь: всего на 40 рублей.

— Неужели только на это? А помните, раньше, тамъ, гдѣ мы кашу заварили, вы на урокахъ зарабатывали больше ста рублей--жизнь тамъ въ нѣсколько разъ дешевле, чѣмъ здѣсь, а вамъ еще къ чему-то изъ дому по сто рублей слали?

— Мало, что было. Было, да сплыло.

Я чувствоваль, что маленькій, черненькій, и остренькій, какъ смертный грѣхъ, этотъ человѣчекъ лжетъ и, порывало меня на грубое, однажды видѣнное.

Въ городскомъ саду рабочій подошель къ прилично одътому господину и ни слова не говоря заклеилъ ему звонкую пощечину.

Господинъ вскочилъ:

— Это за что?

Рабочій ухмыльнулся и развернулся вторично:

— Ты еще спрашиваешь? Такъ получи еще! Господинъ съ ногъ долой, а рабочій пошелъ и на ходу объяснилъ:

 — А это за подлость. Припомни-ка, и подумай.

Порывало, но я сдержался. Всталъ, простился молчаливымъ кивкомъ головы.

И, стоя у редакціи и спрашивая себя—не идти-ли мнѣ въ «Н. П.»—я пришель къ заключеню, что сегодня мнѣ тамъ лучше не бывать: настроеніе изъ такихъ, когда при видѣ господъ Р. *) нельзя ручаться за себя.

^{*)} Такимъ все легко дается, ибо они на все легко смотрятъ. Теперь онъ уже писатель съ именемъ: кривляющійся, ломающійся, пишущій по сезону: въ модъ проблемы пола—онъ пишетъ «о скотоложцахъ». Писатель



Куда же еще? Въ «Міръ Божій»? Тамъ тоже сданъ на просмотръ разсказъ-вмъсто объщанныхъ трехъ недъль, тянутъ уже полтора мъсяца

Въ «Міръ Божій»—но тамъ сегодня не пріемный день.

Куда же еще? Да и стоитъ-ли? Если человъкъ всюду въ такомъ пренебрежении-не значить-ли это, что есть только литературный рынокъ, ремесленники слова, а такъ высокопарно называемаго «Богоданнаго искусства» нътъ. Зарыты таланты въ землю-святое назначение таланта поругано, раздавлено, осквернено.

Я долго стою у редакціи «Руси», и наконецъ. ръшаю ъхать домой.

Дома меня ждало горькое: съ самой Пасхи все время были полуголодные дни, дни свирьпой экономіи, но полныхъ голодовокъ не было.

Пришло и это.

Хозяйка, наконецъ-то, поняла, что жилецъ безнадеженъ и взбъленилась: или плати деньги, или уходи.

Отдалъ ей полтора рубля, а на остальные обманулъ: дня черезъ три-четире непремънно отдамъ!

Черезъ два дня въ «Міръ Божьемъ» пріемный день.

Въ этотъ злосчастный день я ничего не вкушаль - только предвкушаль, -- предстоить еще пробыть на пищѣ св. Антопія по меньшей мѣрѣ пва дня.

ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ.

О, эти два дня и серебрянный двугривенный! Лучше бы онъ исчезъ и явился, когда нужно. Неустанно прикована къ нему мысль: есть керосинъ, есть немного чаю, -если купить хлаба и съ чайкомъ, - это будеть совствит недурно!

Но... черезъ два дня въ «Мірѣ Божьемъ» пріемный день! Потрать я изъ двугривеннаго нъсколько копъекъ-я отъ «Міра Божьяго» буду отръзанъ, какъ на необитаемомъ островъ отъ материка.

Проклятый ревматизмъ!

Я хитерь: чтобы сохранить побольше силыя до минимума стараюсь сократить движенія тъла и лежу дни и ночи этихъ двухъ дней пластомъ на постели.

Къ концу второго дня - соблазнъ двугривеннаго исчезъ: уже твердо, безповоротно я ръшилъ его не трогать, но... явился новый соблазнъ. Нъсколько разъ я поднимался съ постели и подходилъ къ окну: брандмауеръ старъ, мъстами его кирпичъ сильно размякъ, обсыпается и мив кажется, что если этотъ мягкій кирпичь пожевать - въ немъ долженъ быть какой нибудь вкусъ и элементъ, утоляющій голодъ.

Мит кажется, но воть бъда: брандмауеръ изъ моего окна недосягаемъ.

съ именемъ, не стъсняющийся списывать у другихъ п выдавать за свое...

Ночью этого дня быль уже не сонъ, а какоего безсильно-тревожное забытье, кошмаръ желудка, требующаго хлѣба: безконечная ночь—и сознаніе есть, что лучше оборвать это состояніе и бодроствовать,—да силь на это нѣтъ.

Кончился искусъ. Я ѣду и удивляюсь: есть большая слабость, ощутимая легкость тѣла, но въ общемъ—самочувствіе удовлетворительное.

Вотъ и редакція «Міра Божьяго». Но я страшно запоздаль. Мнѣ указывають на часы: пять часовъ, пріемъ конченъ.

Я извиняюсь за опозданіе и говорю, что очень далеко живу, боленъ и мнѣ трудно будетъ побывать въ слѣдующій пріемный день.

Конторщицы спѣшно дописываютъ и щелкаютъ костяшками счетъ. За круглымъ столомъ вдохновители журнала пьютъ чай. Ихъ четверо. Вотъ сѣдовласый старецъ, которому я сдалъ свою рукопись.

- Какъ называется ваша вещь? спрашиваетъ онъ.
- Я называю.
- А когда вы ее сдали?
- Полтора мъсяца назадъ.
- Не помню такой.

Одинъ изъ четвертыхъ всталъ изъ за стола, пошелъ въ кабинетъ, дверь отворена—мнѣ видно порылся въ столѣ, нашелъ и, возвращаясь, молча подаетъ мнѣ рукопись. Я смотрю на него, но запомнить хорошо его лица не могъ: у меня помутились глаза.

Кажется передо мной быль прославленный г. К.

- Позвольте, -- говорю я:-- Что же вы молча?
- А что жъ вамъ сказать!
- Но въдь, разсказъ на просмотръ былъ?
- А я, право, этого не знаю.
- Зачъмъ же вы его возвращаете?
- А затъмъ, чтобы онъ зря не лежалъ, и писатель на меня взглянулъ—съ ногъ до головы. Какъ онъ на меня взглянулъ: на мою синюю рубашку, на мою стоптанную обувь, на весь мой жалкій, истерзанный жизнью видъ! *)

^{*)} Около пяти лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, а страхъ отъ такого взгляда живеть во мит и понынт. Когда я несу въ редакцію вещь и учитываю насколько мой вижшній видъ бъденъ-я убъжденъ, что стъсняться со мной не будуть, вещи моей не возьмуть. Думающіе писать, обивающіе пороги редакцій—изо вськь силь одъвайтесь по послѣдней молѣ, ибо это спасетъ васъ отъ многихъ терній. Хорошій костюмь, заграничная обувь, модный галстухъ ни на одну іоту не прибавятъ цънннаго къ написанному вами, но они вселять къ вамъ уваженіе, нужное приличіе, они поднимуть ваши фонды. Қақъ это ни дико-но это такъ: всъ редакціи нашего многоумнаго времени полагають, что хорошія вещи могуть писать только имъющіе возможность имъть модно-внъшній видъ; не имъющіе такого вида-по мнънію редакцій не имъють данныхъ и писать Съ этимъ не согласится ни одна редакція-ибо это дико, но это такъ: дошло до того, что бъдность и въ храмахъ слова въ полномъ загонъ! Одъвайтесь и обувайтесь по модъ изо всъхъ силь: въ против-

Я, ошеломленный окончательно, замолкъ. Онъ тоже немного помолчалъ, а потомъ:

— Вотъ что, молодой человѣкъ. Какъ, видно, вы хотите, чтобы редакція вашъ разсказъ просмотрѣла. Посмотрѣть можно. Отчего же. Но это будеть безполезно: матеріалу въ портфелѣ редакціи отъ сотрудниковъ съ именами завалъ.

Я молчалъ.

Онъ сказалъ еще:

- Поняли?

Онъ вообразилъ, что я не понялъ!

Я взяль свою рукопись и пошель: гдѣ-же, гдѣ въ такихъ мѣстахъ встрѣтить хоть простую честность, хоть малѣйшую жалость къ человѣку?! При такомъ дѣлѣ—и развилось, обострилось что такое страшное, противоестественное?!.

Я шелъ машинально, безъ цъли, куда попало, съ низко опущенной головой и, когда поднялъ ее, передо мной былъ Невскій проспектъ.

«Міръ Божій» (какова пронія?) угостиль меня такъ, что я не чувствоваль ни голода, ни слабости, мысль встряхнули до остроты.

Я прижался къ стънъ одного дома и стоялъ Городъ. Городъ! Вотъ, твоя улица: обаятельная, какъ волшебное марево—проклятое марево, гдъ гибнетъ человъкъ, его лицо.

Всмотритесь въ толпу города-въ ту толпу,

которая въ опредъленный часъ спъшить въ наиболъе жадную пасть его.

Каждый хочетъ походить на всъхъ костюмомъ, манерами и лицомъ.

Какой этотъ ужасъ для того, кто подмѣчаетъ, чувствуетъ, что нѣтъ ни однаго лица похожаго на другое, что каждое лицо—это опредѣленная форма, которая точнаго повторенія никогда не найдетъ себѣ во всемъ мірѣ.

Одна мало-замѣтная черточка, одна трудно уловимая линія—но уже разница, разница говорящая освоей, о строго особой психо-физической организаціи.

А они изо всёхъ силь лёзуть каждый походить на всёхъ!

Красивая, стройная, элегантная цѣпь — кого тутъ нѣтъ? — Лучшій цвѣтъ общества и подонки его но какъ тѣ, такъ и другіе — жалкое, одурманенное человѣческое стадо, стадо загнаное въ красивую, пестрою, чинную суматоху стадо безнадежно зараженное духомъ обогащенія во чтобы то пи стало, духомъ зависти, неуваженія къ чужому.

Городъ растлилъ совъсть человъка—ту святую пънность души, которая на каждый нашъ поступокъ, на помыселъ моментально реагируетъ указаніемъ: къ разряду зла или добра, къ разряду разума или безумія можетъ быть отнесенъ помыселъ или поступокъ.

Городъ растлилъ эту святыню—и вотъ человъкъ звърь, человъкъ-слъпецъ, незамъчающій,

номъ случав васъ скоро добьють. Никогда не забывайте, что наше время--время эстетовъ!

что онъ блуждаетъ надъ пропастью, срывается и летитъ туда: о, какая эта насмъшливая, жестокая, лживая, равнодушная ко всему, кромъ своего я, толпа Невскаго!

Она течетъ, сгущается и лжетъ, лжетъ и лжетъ. Вотъ блестятъ похотью глаза, тихо звучатъ слога соблазна, слова торга—сегодня будетъ, какъ и всегда, много купли и продажи тъла, сегодня будетъ, какъ и всегда, много обманутыхъ!

Вотъ идетъ буржуа и говоритъ громко дѣль- иу такой же масти:

— Жизнь, говорите, тяжела. А съ чего бы ей быть легче? Реформы, батенька, нужны, въ широкомъ смыслъ реформы общественно-политическія! А гдъ онъ?

Я улыбаюсь: «Да, да, реформы нужны, но къ реформамъ нужны и заповъди: безъ нихъ твой неутолимый аппетитъ при какихъ угодно реформахъ сумъетъ выжимать изъ трудящагося кровь и потъ»!

Воть, какой-то юркій «обхаживатель» внушаеть молоденькой дамочкь—и даже глаза подълобъ закатиль:

— «Жить — руководясь нравственной истиной»... Однако сказали! Что такое нравственная истина—мы этого точно не знаемъ.

Я улыбаюсь: «Лжешь, негодяй. Имъй совъсть, а остальное приложиться».

Воть идеть студенть. Юный совствить, съ чуть

пробивающимися усиками, съ дѣвическимъ румянцемъ,—изо всей этой чинной, ведущей себя по извѣстной выдержкѣ, толпы, онъ одинъ не считается съ общимъ тономъ,—звенящимъ голосомъ, сильно жестикулируя, пожилой дамѣ возражаетъ:

— Что вы? Помилуйте! Немыслимо. Деспотизмъ правительства задавить все благія начинанія. Общество совершенно передъ нимъ безпомощно...

Милый юноша! Будь въ Россіи тысяча людей, людей дѣла, уважающихъ въ себѣ личность, людей, у которыхъ высота сознанія не была бы въ такомъ позорномъ разладѣ съ дѣломъ—деспотизмъ передъ авторитетомъ такой тысячи дрогнулъ бы. Испанская инквизиція сожгла и замучила десятки тысячъ людей, но посягнуть одновременно на тысячу лучшихъ людей страны сразу—она не осмѣлилась бы.

«Общество безпомощно».

Милый юноша! Разбросанность, отсутствіе пѣльности, вѣчная раздвоенность—обречено на безсиліе, на дряхлый маразмъ психики: противное явленіе, анти-человѣческое явленіе то, что слыветъ подъ именемъ современнаго культурнаго человѣка. Отсюда—общество безпомощно!

Милый юноша! Нѣтъ въ наше время учителей, которые бы возвышались надъ жизнью, были бы факелами правды и стоицизма. «Пророки» нашего времени безлюбовны— изжили себя! «Пророки»

нашего времени пошлы: они надменно смотрять на толпу съ какихъ-то воображаемыхъ ими высотъ-и канканируютъ передъ толпой, пресмыкаются подъ ея низменные вкусы, дабы заполучитъ отъ толпы лавры. Они воображаютъ, что они что то дѣлаютъ, чему-то служатъ-но они изжили себя: пассивные паразиты! Утонченные эстеты въ области своихъ переживаній, чувствованій, часто-уми не люди въ сферѣ мысли-но безконечно далекіе отъ человъка въ собственномъ смыслѣ и отъ общечеловѣка-эти эстеты свиньи въ жизни. Имъ отъ роли пророковъ нужно отречься, но лишенные огня совъстиони не отрекутся. Милый юноша, можеть быть. грядутъ пророки безъ ковычекъ-тъ, что будутъ дышать бол ве чистымъ воздухомъ, въ жилахъ которыхъ будетъ течь болѣе здоровая и честная кровь, -- но ихъ не видно, они въ дали, которую мы не увидимъ!

Милый юноша, мы зачахнемъ въ сѣренькой, въ скверненькой жизни, мы не увидимъ подъемовъ, мы не полюбуемся величіемъ человѣка, мы дѣти безлюбовнаго вѣка—и будущія поколѣнія насъ не помянутъ добромъ: кромѣ своей дикой тоски и безвѣрія, кромѣ своихъ паденій и раздвоенности,—кромѣ своего позора и безславія намъ имъ нечего завѣщать!

Начинало темн'єть, когда я добирался до дому. Я не старался думать, какъ вывернуться изъ

безвыходнаго положенія: когда такъ чувствуєтся общая гибель — вкусъ къ жизни утрачиваєтся.

Только слъзаю съ конки—на встръчу Полина Семеновна.

- Однако, хватили! Гдѣ это вы? Очевидно, я очень не твердо держался на ногахъ.
- Хватилъ. Хватилъ, отвътилъ я съ улыбкой. Она взглянула мнъ въ лицо и сразу перемънила тонъ:
- Стыдно. Я об'вдаю въ три часа. Сл'вдовало бы васъ хорошенько пробрать, да некогда: сп'вшу.

Я смотрѣль ей вслѣдъ и думалъ:

— Стоить жить.

Пришелъ домой. Встрътила Катя.

— Думала не дождусь. Хотъла уходить. Не ладишь съ хозяйкой то? а?

. сикноп К

- Да, взбъленилась.
- Вотъ что. Есть у меня вещишки. Ненужныя совсъмъ. Въ ломбардъ ихъ—и помирить тебя съ хозяйкой... Идетъ?
 - -- Дай подумать.
- Нечего думать. До свиданья, сэръ. Ждите меня завтра, какъ снътъ на толову!

Она выскользаетъ изъ комнаты въ корридоръя смотрю ей вслъдъ.

-- Стоить жить.

Исчезаетъ. Возвращаюсь и замѣчаю на столъ кулекъ: хлѣбъ, колбаса, яйца.

— И объ этомъ не забыла!

Я подкрѣпляюсь, ложусь и сплю, какъ убитый. Въ девять утра разбудила хозяйка — третій сюрпризъ: переводъ на 20 рублей.

Я жадно-жадно смотрю на безконечно дорогія строки; вся она—неугомонный порывъ, вѣчное кипѣніе, напряженно-трепещущій комокънервъ—и откуда этотъ поразительный по твердости не женскій почеркъ?

Однажды уже эта дѣвушка въ періодъ страшнаго лушевнаго перелома внушила мнѣ, что отрицаніе жизни—безсиліе, что побѣда человѣка не въ самоуничтоженіи, а въ самоутвержденіи; она подняла меня разъ,—я падаю—она поднимаеть опять.

Я достаю пачку ея писемъ, перечитываю десятки разъ прочитанное—она моя безповоротно, отдалась мнѣ въ этихъ письмахъ,— но она странное, грозно-великое счастье. Она ничего отъменя, кромѣ меня не требуетъ. Стоитъ мнѣ написать одно слово: «Пріѣзжай»— она съ мужествомъ юности пріѣдетъ на нищету, на униженія— не потому, что не знаетъ нищеты и униженія, а потому, что вѣритъ: «Мы все преодольемъ. Мы выплывемъ»!

Я опять берусь за переводъ.

«Послѣ частыхъ и восторженныхъ писемъ — ты началъ отдѣлываться открытками, а потомъ и совсѣмъ молчишь. Знаю тебя: значитъ, у тебя неблагопополучно! Отъ кого иного, но замыкаться отъ меня—здорово за это выдеру за уши. Эти деньги мнъ совсѣмъ не нужны. Имѣю много хорошихъ уроковъ. Глубоко оскорбишь меня, если эти деньги вернешь».

Эти деньги ей «совсѣмъ не нужны»! Знаю я эти хорошіе уроки: грошевые.

Да, надо жить! Надо преодольть, или погибнуть такъ, когда не оскорбляется мужество...

Я долго смотрю въ окно: «Эхъ, взглянуть бы теперь на всю ширь жизни и помечтать, какъ бы величаво размахнулись настояще люди на эту гнусненькую дъйствительность»!

Но мѣшаетъ брандмауеръ, на который я, впрочемъ, не сержусь.

— Милый брандмауеръ, ты можешь быть пока спокоенъ за себя: меня отъ аппетита на тебя избавили!

Вновь я пошель «на штурмъ». Для того, кто не отвлеченно, а на себъ почувствоваль черствость нашего времени — это не будетъ звучать странно.

На этотъ разъ мнѣ посчастливилось. Отправился я къ предсѣдателю литературнаго фонда П. И. Вейнбергу. Онъ меня поразилъ. Явился

я къ нему съ просьбой: не устроитъ-ли онъ меня на какое нибудь маленькое дъло.

Онъ выслушалъ и развелъ руками:

-- Трудно. Буду им тъ въ виду — и несомненно, что нибудь въ этомъ отношении сд таю, но сразу трудно.

Я поблагодараль и хотыть было уходить.

Куда же вы бѣжите? Вотъ она молодость То! Двигайтесь за мной.

Онъ провелъ меня въ свой кабинетъ, усадилъ, и пристально посмотрълъ на меня. А я жадно смотрълъ на него: какъ ръдко можно встрътить въ наше время такіе глаза не только у пожилыхъ людей, но и у молодежи!

Но туть не молодежь, туть сёдой старикъ, въ глазахъ котораго свётиться огромный опыть, тоть опыть который видитъ, какъ велика бездна мукъ на землё, тоть опытъ, который многихъ расхолаживаетъ къ несчастью другихъ, заставляетъ ихъ черствёть, опускать руки, ибо имъ кажется, что бездна мукъ неустранима, что помогая одному, они въ сущности ничего не измёняютъ, *) — передо мной былъ чудный старикъ: наивная, мало прозрѣвающая жизнь, экзальтація юности у этого старика давно отпала, а золото

юности сохранено и блестить такъ, какъ дай Богъ каждому изъ насъ!

Живыми, пламенно-отзывчивыми глазами онъ смотрълъ на меня и, съ улыбкой спрашивалъ:

- Голодаете?
- Бываетъ.
- _ Вижу. Здоровье скверное?
- Этимъ тоже не могу похвалиться.
- Что у васъ?
- Хроническій ревматизмъ.
- Плохо. Мучительная, коварная бользнь. «Кругомъ шестнадцать» у васъ, а бъжите? Такъ не слъдуетъ.

Я сказалъ:

- Время такое: людей боишься. Вездѣ только бьють и озлобляють. Если вамъ разсказать, чѣмъ угощають въ редакціяхъ...
- Да, да, знаю. Наше время—плохое время. Вы столько этой горечи не знаете, сколько я знаю. На этомъ стою. Не легкій постъ! Но вотъ что: вы гдѣ печатались?
 - Нѣтъ.
- Плохо. Хотълось бы вамъ помочь, но если вы ни разу на печатались—помочь вамъ трудно. Подумалъ.
- Въ «Живописномъ Обозрѣніи» у П. вы не бывали?
 - Нѣтъ.
 - Сходите къ нему. Не говорите, что я на-

Marin and the second

^{*)} Я говорю о категоріи людей нашего времени—людей "великихъ дѣлъ" людей брезгающихъ малыми дѣлами, людей—не уясняющихъ себѣ или не желающихъ уяснить, что великое въ маломъ, а малое въ великомъ, а поэтому творящихъ только разложеніе.

правилъ. Онъ... помягие нынъшнихъ... *) И если онъ возьметъ у васъ ваше произведеніе, коть маленькое, —попросите у редакціи удостовъреніе въ томъ, что такая-то ваша вещь принята для напечатанія, и, являйтесь съ этимъ удостовъреніемъ ко мнъ. Для полученія пособій и ссудъ изъ фонда нуженъ цензъ — у васъ его нътъ. Приходится изворачиваться: на основаніи удостовъренія я могу устроить вамъ пособіе рублей въ 75. Ну съ Богомъ!

Отъ Вейнберга я пошелъ въ «Живописное Обозрѣніе». П. встрѣтилъ меня взглядомъ изъ подлобья, лицо его мнѣ показалось тоже довольно суровымъ. Подалъ я ему два маленькихъ разсказа—онъ мелькомъ взглянулъ на нихъ и заявилъ:

— Зайдите недѣльки черезъ двѣ.

Не забывая словъ Вейнберга, что П. «помягче нынъшнихъ»— я дерзнулъ попросить:

— Нельзя-ли поскорѣе?

Вновь взглядъ изъ подлобья—и мягко высказанное согласіе:

— Хорошо. Зайдите завтра.

Явился я къ П. на другой день. Тотъ же взглядъ изъ подлобья, хмурое лицо—но человъкъ красится не взглядами и лицомъ. Коротко мнъ заявилъ:

— Вотъ этотъ разсказъ новъ, оригиналенъ я его возьму; недъльки черезъ двъ его напечатаемъ. Если у васъ есть еще матеріалъ — приносите.

О прієм в разсказа я не см влъ мечтать и растерялся отъ радости до того, что не могъ ничего сказать.

А онъ помолчалъ и еще:

— Я распорядился, чтобы вамъ дали небольшой авансъ. Рублей 15 будетъ довольно?

Я молча пожалъ ему руку.

— Идите къ кассъ и получите.

Иду къ кассъ. Кассирша порылась въ ящикъ стола, потомъ встала и пошла въ кабинетъ. Я слышалъ, какъ она тихо сказала:

— И. Н. въ кассѣ денегъ почти нѣтъ. Если выдадимъ этотъ авансъ—выдадимъ послѣднія деньги.

Тихо отвътилъ П.:

— Не «если», а обязательно надо выдать. Этому начинающему, въроятно, приходится очень туго. Выдайте ему.

Я получиль авансь и, выйдя изъ редакціи, побрель, куда ноги ведуть. Неожиданная удача волновала не менье сильныхъ огорченій. Останавливался передъ кіосками и упивался мыслью, что въ скоромъ времени эти кіоски будуть торговать нумеромъ «Живописнаго Обозрѣнія» съ моимъ разсказомъ. Потомъ припомнилъ «объудостовъреніи» и рѣшилъ, что за нимъ побываю завтра.

Но побывать у Потапенко и Вейнберга-мнъ

^{*)} На словахъ курсивомъ Вейнбергъ сдълалъ удареніе.

больше не пришлось. *) На другой день я прочиталь въ газет в «интервью—съ Горькимъ»—и помчался къ нему.

Жилъ онъ въ это время въ Финляндіи—въ Куоккала.

Довзжаю до этой станціи и спрашиваю чу-хонца-извозчика:

— Знаешь, гд в Максимъ Горькій живеть?

— Горки... Горки...— повторяетъ чухонецъ и, качаетъ съ упрекомъ головой: какъ онъ можетъ не знать, гдъ живетъ «Горки»? — объ этомъ, молъ, даже глупо спрашивать!

Я сажусь въ его одномъстный тарантасъ и ъду.

Вотъ и дача Горькаго. Изъ всъхъ дачь, что встрътились на пути – самая лучшая.

Съ замирающимъ сердцемъ я расплачиваюсь съ извозчикомъ и иду къ дачѣ. Изъ за угла дачи вывертывается прислуга, знакомъ прошу ее остановиться, потомъ подхожу къ ней и прошу доложить.

Она уходитъ и, возвращаясь, просить обож-

дать. Я сажусь подътвнь деревьевъ на скамью. Тишина, сухой воздухъ, въковыя деревья, за стволами которыхъ не видно границъ этой дачивсе здъсь располагало къ глубокому раздумью.

— Да, при такой обстановкѣ хорошо творить,—подумаль я и почувствоваль невыносимую боль оттого, что, а я воть скитаюсь, дрожу за потерю угла, гдѣ за стѣнами не считаются съ тѣмъ, что тебѣ нужна тищина, гдѣ передъ единственнымъ окномъ торчитъ брандмауеръ.

Замираніе сердца у меня исчезло. Холодно и спокойно я ждалъ человъка, котораго такъ долго мнъ не удавалось уловить.

Потомъ впаль въ то тяжкое раздумье, когда высота любой трагедіи, даже и личной, не ужасаеть, когда чувствуешь только одно, что ты страшно усталь, что тебѣ нужень отдыхъ.

И жадно я дышаль этимъ сухимъ воздухомъ, жадно смотрѣлъ на вѣковыя деревья, жадно вслушивался въ тишину: еще можетъ быть, пять или десять минутъ и я уйду изъ этого чуднаго уголка, что бы его никогда не увидѣть.

Въ забытье отдыха, боли, тоски впалъ я-и не замътилъ, какъ подошелъ ко мнъ Горькій.

Я очнулся отъ его грубаго баса:

— Что угодно?

Поднимаю голову—и растерялся. Здоровый дѣтина въ бѣлой фуражкѣ, въ голубой рубахѣ, въ сапогахъ, съ полнымъ лицомъ, подернутымъ розовымъ загаромъ: смотрю на это лицо—такое

^{*)} Этихъ писателей я больше не видълъ. Видълъ много иныхъ—изъ тъхъ, которые дали мнъ понять, что такіе, какъ Вейнбергъ и Потапенко—это уже послъдніе изъ могиканъ. Разсказа своего мнъ не пришлось читать въ «Живописномъ Обозръніи», ибо оно пріостановилось за недостаткомъ средствъ и, все таки человъкъ, при видъ нуждающагося не могъ не отдать приказанія выдать изъ кассы послъднія деньги! Это уже—послъдніе изъ могиканъ!

далекое отъ того, какимъ оно изображалось на открыткахъ—безъ морщинъ, нътъ на немъ той осунутости, того глубокомысленнаго, мучительнаго въ своей напряженности, выраженія, —смотрю на это полное, здоровое лицо и думаю: «А въ газетахъ писали, что здоровье его плохое. Такъ отлично выглядитъ».

Припоминаю одного столяра: если поставить ихъ рядомъ—долго обоихъ нужно знать, хоро- шенько вглядъться, чтобы не смъшать.

Я растерялся—и, хотя чувствоваль, что передо мной подлинный Горькій, что вопросъ мой нельпъ, и все таки спросиль:

— Вы, Алексъй Максимовичъ?

- Я. Что угодно?

Вынимаю изъ кармана свои рукописи и заявляю:

— Пріфхалъ къ вамъ съ темъ, чтобы искать у васъ поддержки

Онъ знакомъ руки повелъ меня за собой. Усълись мы на террасъ. Посмотрълъ Горькій на мои писанія—мелькомъ въ начало, мелькомъ въ конецъ—и медленно пробасилъ:

— Писать вы можете.

Я смотрѣлъ на него: вотъ человѣкъ, въ котораго я питалъ такую большую вѣру, человѣкъ—моя первая и послѣдняя надежда.

Онъ помолчалъ, а потомъ:

— Разскажите мнѣ о себѣ подробно, какъ жили, почему надумали заняться писательствомъ?

Мить этотъ вопросъ не понравился,—онъ звучаль грубо, тономъ допроса, жесткимъ сознаніемъ, что съ загнаннаго жизнью можно требовать и такой исповъди, которая ему тяжела и непріятна: врешь, хочешь-не хочешь, а скажешь,—а я послушаю!

Напомниль мнъ этотъ вопросъ и батюшку: тоже требовалъ подробностей — а что сдълалъ?

Я началь говорить о себь подробно—холодно, спокойно, думая въ это же время: «Ну, что же, льзь и ты, льзь въ самую глубину души, а что дашь взамънь—посмотримъ!

Потомъ вспыхнулъ было горячій порывъ оборвать эту вынужденную исповъдь, — сказать Горькому о томъ, что когда то онъ для меня былъ благоухающимъ цвѣткомъ души, нетлѣннымъ цвѣткомъ, но время, но мытарства, пережитые, пока, я его уловилъ, отравили этотъ цвѣтокъ, заставили его поблекнутъ; сказать, что когда-то я шелъ къ нему, какъ къ духовнику, облеченному въ ризу писателя, когда несъ свою исповъдь самъ—сказать и попроситъ: верните мнъ, если можно, то, что было, не дайте горечи сознаню моему, что всѣ наши прекрасныя надежды—только самообманы, злобный хохотъ настоящаго надъ былыми заблужденіями!

Вспыхнулъ этотъ порывъ и погасъ: большими, тяжелыми, буквально звъриными глазами такого крупнаго звъря, который чувствуетъ свою мощь и презираетъ находящагося передънимъ малень-

каго зв трыка за его безсиліе—такими глазами смотрълъ на меня Горькій.

Но, вѣдь, безъ этого человѣка—гибель, онъ—послѣдняя надежда! Я продолжалъ подробности о себѣ,—Горькій слушалъ, а затѣмъ—выкинулъ нѣчто еще почище звѣриныхъ глазъ:

— Не могу вамъ ничѣмъ помочь.

Я оборвалъ исповъдь о себъ, онъ попросилъ:

— Нътъ, вы еще о себъ поразскажите.

Я разсказываю *еще*—съ мукой въ душѣ, со взрывомъ негодованія, но искренно, одну только правду, не сгущая, и не прикрашивая ея.

Онъ вновь повторилъ:

- Не могу вамъ ничтиъ помочь.

Еще разъ я имѣлъ силы съѣсть молча такое блюдо, а когда онъ мнѣ преподнесъ его въ третій разъ—я оборвалъ рѣзко подробности, рѣзко всталъ и рѣзко бросилъ:

— Прошайте!

Всталъ и онъ:

- Постойте. Развъ уже ничего еще не скажете?
- Къ чему говорить, когда вы заявляете, что ничъмъ помочь не можете? У васъ «Знаніе», вы имъете въ литературъ такой въсъ—и не върю я, что вы безсильны помочь. Прощайте!
- Постойте. Къ какому времени вамъ просмотреть ваши вещи?

Я помолчаль: быль поражень перемьной лица

Горькаго, — онъ смотрѣлъ на меня съ тихой улыбкой участія. *)

Потомъ отвѣтилъ:

- -- А это сообразуйтесь со своимъ временемъ.
- Хорошо. Я вамъ дамъ отвътъ черезъ недълю.

Я повторилъ ему то, что говорилъ Петрову:

— Если найдете у меня дарованіе — поддержите меня до конца; не найдете — мнѣ ничего отъ васъ не надо.

Онъ помолчалъ, пристально вглядываясь въменя, потомъ взялъ мою руку, и, разсматривая обезображенныя суставы, говорилъ:

 Однако у васъ и ревматизмъ. Васъ надо дечить.

Я ничего не сказалъ. Онъ спросилъ:

- _ Денетъ вамъ надо?
- Если можно-рублей десять дайте.

^{*)} Поэже, когда этого писателя имъть возможность наблюдать лично, когда вчитался въ его произведенія—я поняль, что «звъриные глаза» и заявленія о невозможности помочь—это своеобразное испытаніе «на личность» въ духѣ Горькаго. Тоть человѣкъ, который задавленъ жизнью до того, когда утрачивается гордость, когда въ попыткахъ ухватиться за жизнь переносятъ грубыя униженія, унижаются сами—такой человѣкъ, котя-бы онъ и былъ достоинъ поддержки, могъ бы еще подняться, участія въ Горькомъ не встрѣтилъ бы. Горькій слишкомъ субъективно смотритъ на людей. А отсюда очень часто вытекаютъ несправедливость и жестокость. Призма только моего Я— слишкомъ узкая призма;

.

Ушелъ и вернулся, протягивая мн вдвое больше.

Я подалъ ему руку—одновременно прощаясь съ нимъ и благодаря его. Осторожно, мягко держалъ онъ мою руку въ своей и тихо вымолвилъ:

— Вы простите, что я не жму вамъ руки. Боюсь причинить вамъ боль.

Это было сказано такъ—до глубины дущи этотъ человъкъ сумълъ меня взбъсить и до глубины души сумълъ тронуть.

У меня кружилась голова. Я боялся расплакаться и поспѣшилъ отъ него уйдти.

Прошла недъля. Я получилъ отъ Горькаго свои разсказы, и на поляхъ одного изъ нихъ было написано: «Изъ вашихъ разсказовъ я вынесъ впечатлъніе, что вы будете писать, какъ пишутъ многіе, но ради этого поддерживать васъ не стоитъ».

Я учелъ всю жестокость этихъ немногихъ словъ, но они не возмутили меня: жить только для того, чтобы имъть возможность поддерживать свое прозябание—этого я не хотълъ. Хотълось оправдать свое существование, чъмъ нибудь значительнымъ, но если назначительное по словамъ авторитета у меня не оказалась данныхъ, жизнь утрачивала для меня смыслъ.

Но, къ концу недъли я послалъ Горькому

разсказъ «Въ заводѣ». Было предчувствіе, что этотъ разсказъ болѣе содержателенъ, чѣмъ тѣ, которые я ему далъ лично и хотѣлось выждать отвѣта по поводу этого разсказа: выждать и, если и на этотъ разъ мнѣніе будетъ отрицательное, тогда...

Отвътъ получился послъ «приписки на поляхъ» черезъ два дня—уже заказнымъ письмомъ.

Какъ не велика была моя рѣшимость ликвидировать счеты съ жизнью, но вѣдь, жизнь, какъ говорятъ, «не фунтъ изюма»,—ко дню полученія этого письма я разнервничался до того: болѣли зубы, ходилъ къ двумъ зубнымъ врачамъ и ни одинъ не могъ помочь. Два попорченныхъ зуба вырвали, а остальные здоровые—но болятъ такъ, утихаетъ одинъ, поднимается другой.

Бъсился, требовалъ рвать и ихъ: «Чортъ съ ними, умирать и безъ зубовъ можно»,—ни одинъ врачъ здоровыхъ зубовъ рвать не соглашался.

Но письмо... вотъ оно:

«Мнѣ очень пріятно сказать вамъ, что послѣдній вашъ разсказъ на много лучше, —проще, яснѣе, —чѣмъ первые, хотя и въ немъ есть преувеличенія, ходульность, фальшь. Люди—пестры, нѣтъ—только черныхъ сплошь и нѣтъ сплошь бѣлыхъ. Хорошее и дурное спутано въ нихъ—это надо знать и помнить. А если вы непремѣнно хотите написать идеаль-

но хорошаго челов'ька, —его надо такъ хорошо выдумать, чтобы въ немъ читатель чувствовалъ и плоть, и кровь, и в'ърилъ бы вамъ—есть такой челов'ъкъ! Но чтобы хорошо выдумывать—нужно много знать, видъть, чувствовать, нужно умъть изъ маленькихъ кусочковъ реальнаго, создать большое идеальное, такъ, чтобы никто не замътилъ, что и гдъ вами спаяно, склепано и склеено.

И нужно върить въ людей, въ то, что они растутъ, становятся все лучше.

Храните мои письма, современемъ, когда вы выростите, во что я вѣрю, вы, можетъ быть, хорошо посмѣетесь надъ ними.

А теперь вотъ что, прилагаемое письмо вы отнесете по адресу, постарайтесь увидъть доктора лично, добейтесь отъ него опредъленнаго отвъта, попросите его отвътить мнѣ на письмо, это будетъ лучше и пріъзжайте ко мнѣ.

Вамъ необходимо вылечиться и это нужно устроить.

Пока до свиданія.

А. Пѣшковъ».

Это письмо... пока я прочиталь его—зубной боли у меня, какъ не бывало.

Въ тотъ же день, когда было получено письмо, я побывалъ у врача, а на другой день поъхалъ къ Горькому.

Странное творилось со мной: я хотыть убъдить себя, что мнъ нужно радоваться и испытываль чувство той неподавимой тоски, когда кажется, что жизнь—это только тяжесть и пустота.

Моментами я ловилъ себя на тихомъ, благоговъйномъ чувствъ: я върилъ въ Горькаго, какъ въ ту большую мудрость, которая раскроетъ мнъ меня, дастъ мнъ ясность взгляда на всъ мои смутныя представленія и запросы.

За свою судьбу я быль уже спокоень настолько, что думать о себъ, какъ бы и послъ Горькаго не очутится въ роли «человъка-мячика»—объ этомъ не думалъ: думать объ этомъ казалось не только смъшнымъ, но и преступнымъ.

Горькій не продукть разложенія, не плодъ вымирающихь духовно классовь—этоть человъкъ на своей шкурѣ испыталъ все то, что ему дало толчокъ поднять знамя бунта за всѣхъ раздавленныхъ зломъ соціальной неправды. Онъ видѣлъ ту чудовищную пропасть, которая раздѣляетъ бѣдняка и богача, онъ знаетъ ядовитую остроту тѣхъ мучительныхъ положеній, когда приходится убѣждаться, что для богатаго только тотъ человѣкъ, кто богатъ, а остальные—они достойны только презрѣлія, они не яюди, а нѣчто такое, что необходимо терпѣть только потому, что безъ нихъ ни обойдешься.

Вспыхивала страстная ненависть противъ того, что въка прошли, а положение раздавленныхъ въ сущности не улучшилось: они все такъ же порабощены, надъ ними тяготъетъ все тотъ же «древний законъ Ману».

Денежный мѣшокъ одухотворяетъ только денежныхъ мѣшковъ, а остальныхъ—развращенная и пресыщенная всѣми благами наглая тупость буржуа сверху внизъ смотритъ даже на лицо съ печатью генія!

Развертывалась жизнь, то, что я съ ужасомъ и болью впиталъвъ себя въ бытность рабочимъэто огромное, кошмарное полотно, то, что пережилось, когда пасть капитала поглотила здоровье, когда «калѣка никому не нуженъ», то, наконецъ, что встръти в на свои попытки постучаться въ двери литературы. Всюду жизнь опахабленная, поруганная, ничего иного въ человъкъ не вызывающая, какъ злобу и ненависть, месть и разрушеніе, а въ лучшихъ сердцемъогненный гнѣвъ души, ея неумолкаемо-вѣчный ропотъ, ея мучительно-безпокойные поиски обръсти что то, почувствовать себя на своемъ мѣстѣ: на мъстъ, гдъ чудится какая-то великая радость свѣтлаго отдыха, гдѣ не омрачится душа скорбью за обездоленных тотъ рожденія и отверженных в до могилы.

Вспыхивала страстная ненависть и погасала, ибо надвигалось нѣчто, появленіе чего въ пер-

вые моменты всегда сопровождается мучительнонедоум вающимъ вопросомъ:

— Да отчего? Боже мой, вѣдь, это нестерпимо.

А грудь уже то давить, то распираеть и сжимаеть то непередаваемое чувство тоски и безнадежности, когда надо кричать дикимъ безсмысленнымъ крикомъ или... тихо-тихо плакать.

Но не закричишь. Сдержишься. Кто пойметь такой крикъ? Изъ нѣсколькихъ тысячъ одинъ. И не заплачешь: ядъ этой тоски и безнадежности атрофируетъ слезы наружно и вгоняетъ ихъ внутрь: перемѣшанныя съ живой кровью и напряженнымъ трепетомъ слишкомъ много битыхъ и слишкомъ приподнятыхъ нервъ—эти внутреннія слезы, какъ капли расплавленнаго металла, падаютъ на ледяное отчаяніе, не принося облегченія, рождая боль, боль и боль.

Потомъ опомнишься, поймешь причину такого состоянія: это ты—и всѣ, это всѣ—и ты.

Тебѣ переродиться — на это не пойдешь. Жизнь принята, какъ вдохновенная молитва, какъ сказка, какъ чудо — отъ этого не откажешься. Всѣ для тебя тоже не переродяться: прочно стоятъ на своихъ китахъ.

Вотъ эта міровая ноша не по силамъ! Ибо не создашь себъвъ эти минуты ложныхъ иллюзій, не завуалишь ими чудовищнаго лица жизни: острое жало ледяного отчаянія съ колоднымъ безстрастіемъ вопьется въ ту тайную, до демо-

низма хитро сплетенную сложность, откуда вытекаетъ «судьба», вопьется и раскроетъ ту миническую «книгу жизни», гдъ будто бы всякому заранъе «всъ предопредълено».

Раскроешь эту книгу—и ранняя съдина волосъ, тускнъющій блескъ глазъ будутъ спутниками твоихъ думъ.

Не обманешь (себя, отбросишь завѣсу дживыхъ явленій и увидишь за ней притаившагося обще-человъческаго мірового гада: онъ прячется за хаосъ отдъльныхъ фактовъ, онъ вездѣ и всюду подъ гримомъ, подъ маской, дѣянія егозакономѣрны, фатальны: вотъ вѣнецъ, которымъ пока украшаетъ себя человѣчество!

Не обманешь себя—и утѣшаешь себя слабымъ призрачнымъ утѣшеніемъ: «Милые люди. Люди отъ вѣчности. Поборники правды и добра, просто прекрасные люди съ чистымъ сердцемъ, съ душою дѣтей—васъ такъ мало, мало, вы затерты, затеряны, вы золотыя буквы въ черной, смердящей «книгѣ жизни», вы дальній свѣтъ, тепло, грѣющее и освѣщающее живую душу иногда не видимо, издали. Милые люди, не падайте духомъ, ибо вы призваны быть—Солнцемъ Земли. Велика тьма жизни, но если въ темную пропасть заглянетъ хоть единый лучъ солнца—развѣ онъ не поселить въ душѣ попавщаго туда надежды на спасеніе»?

Но трудно жить поклоненіемъ «милымъ людямъ,» которыхъ мало, которыхъ въ эти тяжелыя минуты не видишь, а созерцаешь тахъ, чамъ заполненъ весь міръ, тахъ, кто по своей злости и тупости машаетъ жить другимъ, тахъ отъ кого внашне стынешь, мертваешь, а внутри задыхаешься, мечешься — изступленіемъ горькаго смаха крикнуть бы на весь міръ:

— Творите «Книгу жизни». Тъшьте себя. Побольше зла, безсердечныхъ дъяній. Ставьте выше всего свое «Я», а остальное—а объ остальномъ не размышляйте. Помните одно, чему учили и учутъ васъ поэты, что «прожитый день безслъдно канетъ въ въчность» и, не слушайте, когда вамъ говорятъ, что каждый прожитый день не безследно отражается въ жизни. Все воздавайте своему «Я», воздавайте вольно и невольно и не сгорайте отъ желаній созидать благо. Ибо почему-то, чемъ ни боле вы его созидаете, темъ больше ростеть то, что названо «мостить адъ добрыми намъреніями». Плодите ужасъ дикой, несчастной жизни-и ничего не бойтесь! Міръ крѣпко стоитъ: наиболѣе чистыми жертвами человъчество искупаетъ свои преступленія. Міръ не скоро дрогнетъ, ибо есть въ немъ законъ тайной, невидимой расплаты: за вину совершонную однимъ эта расплата падаетъ иногда на не винныхъ «до седьмого поколѣнія».

Въ такомъ состояніи я прі вхалъ къ Горькому. И даже больше: на этотъ разъ надвинувшіеся на меня «нѣчто» усугублялось еще чѣмъ-то та-

кимъ, въ чемъ я не могъ отдать себъ отчета. Я зналъ, что это недаромъ, что это предчувствие чего-то зловъщаго—но чего? Этого непредугадаешь, когда оно гдъ-то впереди, когда не видишь конца той нити, которая затянется на тебъ роковымъ узломъ.

Такія предчувствія раскрываеть только жизнь. Въ дѣтствѣ, лѣтъ отъ восьми до одинадцати, я въ темныя лѣтнія ночи, когда весь городишко уже погруженъ въ сонъ, уходилъ въ садъ при домѣ и думалъ: «Вотъ я выросту. Пойду въ жизнь. Какъ буду жить? Что такое жизнь? Буду-ли въ ней тѣмъ, чѣмъ хочу быть?»

Юный мозгъ недавалъ отвѣтовъ на вопросы, кромѣ послѣдняго. Я страстно хотѣлъ быть врачомъ и всѣмъ домашнимъ пылко заявлялъ: буду учиться и буду докторомъ!

«Докторъ»—это для меня быль только звукъ, не имѣвшій воплощенія, ибо въ этой порѣ я не видаль въ лицо ни одного доктора, но звукъ настолько почетный и соблазнительный—казалось, что выше этого званія въ мірѣ ничего нѣтъ. Иготовился я къ этому почетному званію энергично: теоретически проходиль въ начальномъ училищъ только еще азы, а практически — неутомимо рѣзалъ лягушекъ, дохлыхъ кошекъ и собакъ. И вотъ, вопросъ о томъ, чѣмъ я буду, былъ рѣшонъ безповоротно, а остальные—и жутью и не ясными заманчивыми соблазнами вѣяло на меня изъ темноты.

Наростала внутри необходимость выражать свои переживанія.

Много я въ эту порууже зазубрилъ стиховъ, но для выраженія у меня было только одно— Кольцова.

Запѣваю робко, тихо:

«Надо мною буря выла. Громъ по небу грохоталъ. Слабый умъ судьба страшила Холодъ въ сердце проникалъ.»

Смыслъ этихъ четырехъ строкъ для меня теменъ. Какая «буря», какой «громъ», что за «холодъ»—все это для моего дътскаго ума не только непостижимые символы, а нъчто большее.

Мнѣ кажется, что я творю страшный вызовъ, я бросаю заклятіе, и... вотъ, вотъ разразится внезапно буря, грянетъ громъ, а молнія за мою дерзость поразитъ меня на смерть!

Жду въ трепетномъ ужасть—но ничего нътъ. Темное, безстрастное небо—великой тишиной и великимъ покоемъ въетъ оттуда и будитъ во мнъ экстазъ молитвы за это темное, безмърное небо, за обаяніе темной ночи.

Ничего нътъ. Но предчувствіе чего-то большого и грознаго, смотрящаго на меня изъ темнаго безмолвія спящаго города не покидаетъ меня: чувствую я своимъ маленькимъ сердцемъ, что отъ этого тайнаго врага мнѣ не уйдти, съ нимъ я неизбѣжно долженъ встрѣтиться и имѣть смертельно-напряженную борьбу. И гордо, вдохновенно, во всю силу легкихъ бросая вызовъ этому врагу—я продолжаю:

Но не палъ я отъ страданья: Гордо выдержалъ ударъ Сохранилъ въ душѣ желанья. Въ тѣлѣ силу, въ сердиѣ жаръ.

И въ горѣ и въ радости я часто вспоминалъ это дътское предвидъніе.

Вспомнилъ его и теперь. Долго стоялъ передъ воротами дачи Горькаго—и стараясь хоть сколько нибудь успокоить себя, думалъ:

— Все сбылось. Много и гордо различных ударовъ и бурь пережилъ, желанья въ душт сохранены, сердце знакомо съ холодомъ тоски и безнадежности, но есть въ немъ еще и жаръ, иногда, пожалуй, слишкомъ пылкій, неугомонный, —одно только не сохранено: въ тълъ сила! Проклятый недугъ. Источникъ моихъ бъдствій, униженій, ради осуществленій, «желаній души», жельзная пята для моей гордости, тупикъ, гдъ гибнетъ былая отвага. Не поживещь уже захватомъ, какъ бы высмотръть въ жизни чорта поважнъе, да побольше и не задумываясь много схватить его прямо за рога! Куда ужъ тутъ: будь всегда и вездъ на сторожъ, какъ бы самого не раздавили.

Долго стоялъ я такъ и, когда пошелъ—тяжести мнѣ не удалось съ себя скинуть.

— Вотъ оно прошлое—то, говорилъ я себъ:— Забитъ, забитъ до того, что мучаешся невъдомо надъ чѣмъ. Вѣдь, глупо бояться «чего-то» Мытарства теперь кончились, надо бы духомъ подняться, а я создаю себѣ какіе-то ни на чемъ неоснованныя страхи. Если такъ жить—многаго въжизни не сдѣлаешь. Если такъ жить—лучше не жить.

Горькій вышель ко мнѣ, очевидно оторвавшись только что отъ работы: лицо его выражало раздумье.

— Здравствуйте. Ну, были у доктора?

Я сказаль, что этоть докторь съ мъсяцъ назадъ уъхаль въ старую Руссу.

— Вотъ что! Какъ же теперь быть-то?—и онъ медленно началъ ходить изъ угла въ уголъ по террасъ.

Оть спокойно-самоувъренныхъ движеній и кончая способомъ выражаться—все въ этомъ человъкъ было полно тъмъ значеніемъ, которое говоритъ, что этотъ человъкъ знаетъ себъ цъну.

Потомъ онъ остановился предо мной:

- Какъ же теперь быть? Лечебный сезонъ идеть къ концу, а полечиться вамъ въ этомъ же году необходимо.

Я подумалъ и съ чувствомъ, точно дѣло касалось совсъмъ не меня, высказалъ:

— А если мнъ прямо ъхать въ Руссу?

Горькій подхватиль:

— Вѣрно! Такъ и сдѣлаемъ. Подождите меня. Сейчасъ я принесу все для этого нужное. Онъ ушелъ. Съ минуту я вслушивался въ тишину, вглядывался въ застывшую отъ безвѣтрія зелень деревьевъ, и съ чувствомъ тихой, благодарной радости думалъ:

— Вотъ, уже и лечиться. Какъ все это просто, скоро. Такъ поступаетъ только настоящій человъкъ; только тотъ, кто твердо уясняетъ себъ, какъ необходимо воплощать слово въ дѣло; только тотъ, кто проникновенно смотритъ въ жизнь и видитъ, что ея страшный видъ это не рокъ свыше, это не неустранимое, а роковыя послъдствія насилій и надругательствъ одного надъ другимъ, это слежа, такъ въ добрыя миния въ дѣло, это позорный разладъ совъсти съ жизнью, крайняя безотвътственность одного передъ другимъ, торжество внѣшняго человъка надъ внутреннимъ.

А потомъ... потомъ дрогнула моя тихая, благодарная радость и исчезла. Опять я былъ во власти зловъщаго предчувствія; оно ясно говорило мнъ, что это ни раздерганныя нервы, ни мнительность, ни забитость—такимъ безсильнымъ, ничтожнымъ, раздавленнымъ я чувствовалъ себя передъ этимъ злымъ пречувствіемъ, гдъ нечего и думать о борьбъ: надо капитулировать!

Мысль моя въ эти моменты была въ полной паникъ. Я жилъ, чувствовалъ, видълъ инстинктомъ: казалось, что съ шумомъ и свистомъ мчится на тебя какая то страшная тяжесть;

откуда налетить — спереди, сзади — этого не знаешь; но налетить и сразу не пришибеть, не раздавить, нъть, а будеть истязать, дасть чудовищно-длительную агонію.

И боязнь передъ этой агоніей была такъ велика, что смерть казалась благомъ. *)

Глазами смертельной тоски я внивался въ зелень деревьевъ, остро-напряженнымъ слухомъ жадно ловилъ тайную жизнь тишины — съ по корной скорбью, я слалъ всему этому прощальный привътъ и внутренній голосъ со всею силою отчаянія, но подавленнаго уже примиреніемъ, кричалъ мнѣ:

— Какъ все это ты любилъ. Какъ все это ты любилъ!

Какъ въ послѣднія предсмертныя минуты — вся жизнь выявилась со всѣми своими огромными мученіями и съ маленькими, ничтожными радостями, радостями минутъ, дня — не больше; большое счастье все грезилось впереди—и вотъ, когда кажется подходишь къ нему—все рушиться. Любимыя мечты о писательствѣ, любовь той, которая перебивается на грошевыхъ урокахъ и убѣждаетъ, что ей деньги совсѣмъ не нужны, святая, вѣчная любовь—молитва величію и красотѣ мірозданія — все это надо оторвать отъ души и сердца, всему сказать послѣднѣе «Прости!»

^{*)} Это предчувствіе не обмануло меня. Мн'є дали такую Голгову, передъ которой смерть—благо.

Вошель Горькій.

Все во мн'в вдругъ оборвалось; все такъ застыло, когда страннымъ кажется, что ты можешь говорить, двигаться: чудится, что ты уже переступилъ какую то важную грань жизни — туда, въ ту-потустороннее.

Горькій быль оживлень, съ ласковой улыбкой на лицѣ. Вошелъ, положилъ передо мной на столь деньги и письмо и, съ мягкимъ тепломъ въ голосѣ, забасилъ:

— Вотъ и готово. Вотъ вамъ деньги; пока маловато, больше не нашлось, но какъ только прибудете въ Руссу — телеграфируйте адресъ и я вышлю еще; вотъ вамъ письмо къ доктору. Лечитесь, а когда кончите, прівзжайте комнъ.

Я совершенно не отдавалъ себѣ отчета въ своихъ дѣйствіяхъ.

Холодными, безжизненными глазами я взглянуль на Горькаго и, безъ малъйшей мысли объ этомъ, у меня вырвалось:

— Алексъй Максимовичъ, стоитъ-ли?

Онъ уставился на меня недоум вающимъ взглядомъ:

— О чемъ вы говорите?

Я высказаль, что стоить-ли мнѣ лечиться, что не будеть-ли это только тратой денегь, что, можеть быть, я такой никудышникъ, которому вовсе не слѣдуетъ лѣзть въ писательство.

Онъ спросилъ:

— А если не будете писать, что же тогда танете дълать?

Я чувствоваль всю красоту этой минуты, когда толной рѣшимостью принимаешь смерть по одному только слову человѣка. Смѣло и холодно встрѣтился съ взглядомъ Горькаго—острымъ, напряженнымъ,— и выдерживая этотъ взглядъ, котѣлъ сказать: «Умирать.»

Это слово звенѣло во мнѣ, казалось, что оно вырвется въ повышеномъ тонѣ, но должно быть, рѣчь о смерти въ такихъ случаяхъ нѣчто такое, трѣ можно только чувствовать, но не говорить. Но надо же, вѣдь, говорить, когда самъ завелъ объ этомъ рѣчь.

И съ величайшими усиліями — очень тихо и едва внятно, съ наплывомъ до этого невѣдомыхъ тончайше неуловимыхъ чувствъ, гдѣ и благоговѣйный восторгъ и благоговѣйная робость, какъ бы грубо не коснуться какого-то смутноогромнаго величія и какой-то чудесной въ своемъ пѣломудріи ослѣпляющей бѣлизны, — тономъ, интонацію котораго я потомъ никакъ не могъ воспроизвести, я отвѣтилъ:

— Умирать.

Что-то съ меня спало — и уже въ упоръ смотря на Горькаго, я громче и смълъе добавилъ:

— Если это для меня лучщее,— скажите мнъ объ этомъ прямо.

Горькій опустиль голову, помолчаль, потомь, тоже очень тихо, спросиль:

-- Почему вы объ этомъ заговорили? Почему?

Холодными, безжизненными глазами я смотрыть на Горькаго и говорилъ. Говорилъ скучнымъ монотоннымъ голосомъ о томъ, что пережиль въ Нижнемъ, какъ и кто тамъ ко мнъ отнесся, потомъ, какъ завязались мои сношенія съ «батюшкой», и чёмъ кончились.

Говорилъ не затрудняясь, уже готовыми, выстраданными словами — и то, что такъ недавно вызывало и гнъвъ, и боль, и горечь, отдавало только привкусомъ больной, безрадостной печали. Слишкомъ ужъ это ег эти минуты было обыденнымъ, земнымъ и, гдѣ не себя жаль, а тѣхъ надеждъ, которые приподнимали тебя и того человъка немного въ высь-немного отъ земли къ небу!

Батюшку я строго не обвинялъ; я подчеркнуль только то, что, можеть быть, по малодушію онъ не могъ мнѣ прямо заявить объ отсутствін у меня дарованія и, что бросая меня, онъ тоже, можетъ быть, былъ правъ, но долженъ былъ это сдёлать не «втихомолку», а имёть мужество заявить мнт объ этомъ въ лицо.

Потомъ сказаль, что знаній, даже самыхъ необходимыхъ писателю, - у меня нуль, что чувствую, какъ много нужно учиться, работать надъ собой, а силъ мало: и болѣзнь, и нужда и люди подъ фли.

Я кончиль. Горькій задумался.

Съ трепетомъ я ждалъ его ръшенія. Тяжесть пережитаго и того, что придется пережить-въ эти минуты я остро видълъ всъ шипы жизни, на которые неизбъжно будетъ колоться самый счастливый челов в которыми общепринято разумъть «счастливыхъ людей», давила меня, какъ никогда.

Хотълось отдыха, покоя смерти. Я чувствоваль, что я-весь мольба, что я прошу пощады не на жизнь, а на смерть.

Знаю, что многимъ и многимъ это покажется лико, неестественно, ибо человъкъ склоненъ просить всегда "«пощады на жизнь» и склоненъ не щадить ближняго своего, знаю это и говорю такимъ многимъ:

- Господа! Есть на землѣ у иныхъ полная мъра любви. Не та, не ваша, не себялюбивая любовь, вымаливающая пошады только себъ и вгоняющая въ гробъ другихъ-есть любовь выше своей шкуры!

Даже и теперь, когда пишу эти строки, когда отъ тъхъ моментовъ я отдъленъ значительнымъ, все притупляющимъ и со всъмъ примиряющимъ временемъ-даже и теперь я содрогаюсь отъ высоты своего чувства къ Горькому.

Мое «быть-ли миѣ или не быть?» врученное лобровольно человъку -- было ни болъе ни менъе, какъ «Авва Отче! все возможно тебъ: пронести чашу сію мимо меня; а впрочемъ да будетъ воля Твоя».

193

Я ждалъ ръшенія Горькаго.

Мысль моя ужасалась: «Что ты сдѣлалъ? Какое безуміе. Такъ долго этого человѣка искать, столько претерпѣть и, когда онъ найденъ, когда принимаетъ живое, подлинное участіе—ты поставилъ такой чудовищный вопросъ. Какое безуміе!»

Но мысль... Что такое мысль передъ областью чувствъ? Пигмей передъ титаномъ. Слѣпецъ передъ зрячимъ. Посохъ путника, ищущаго путей въ вѣчность.

Чувство мое грозило мнѣ какой то страшной тяжестью жизни и не слушая мысли—я хотълъ смерти.

Но мит вынесли иное.

Горькій, наконецъ, надумался; не поднимая головы, съ хмурымъ лицомъ, въ которомъ такъ мнѣ показалось – было порицаніе всѣмъ тѣмъ господамъ, съ которыми я сталкивался до него, онъ медленно сказалъ:

— Умирать-ли вамъ—этого я вамъ не скажу; объ этомъ вамъ не слѣдуетъ думать. «Батюшку» забудьте: онъ не авторитетъ.

Я почувствовалъ на себъ крестъ. До ръшенія Горькаго я былъ—весь мольба; послъ—когда онъ мнъ даровалъ жизнь—весь покорность.

Онъ помолчалъ и добавилъ.

— Я думаю, что черезъ годъ; черезъ два вы напишите хорошую вещь.

Опять пауза и взглядъ на меня. —И поясненіе:

— Знаете что такое «хорошая вешь?» Писатель въ три года или лътъ въ пять напишетъ много вещей, но если изъ этихъ многихъ создана только хотя бы одна хорошая вещь—это уже писатель изъ большихъ.

Безрадостно и молча я выслушалъ слова, прочащія меня «въ сонмъ большихъ».

Покорно я взяль деньги, письмо къ доктору и попросиль Горькаго указать мнѣ, что я долженъ читать.

—Чехова читали?

Чехова я читалъ, но такъ давно, что выразилъ желаніе перечесть и еще.

Горькій ушель и вернулся съ кучей книгь: книгь Чехова не нашлось, (на нихъ мнѣ дадена была записка въ к—во «Знаніе») были вручены мнѣ Антонъ Менгеръ, И. Бунинъ, и самъ Горькій, представленный двумя томами.

— Особенно внимательно читайте Чехова. Онъ изумительно писалъ! Не подражайте ему въ содержаніи, а вглядывайтесь въ него только, какъ въ художника слова; содержаніе-же у васъ должно быть свое: то, что вы на своей шкурть вынесли и то, что вы видъли въ своей средъ. Этому должны върить. Внимательно прочтите такъ же и Менгера. Важная книга.

Молча, съ покорной тяжестью въ душъ, я выслушалъ Горькаго.

Затъмъ мы простились. Пожимая мнъ руку, онъ сказалъ:

— Жду васъ къ себъ поздоровъе, чъмъ теперь. Пишите оттуда,

Не легче миѣ было, когда я и поѣхаль отъ Горькаго. Полной мѣрой я оцѣнилъ всю его трогательную заботливость обо миѣ, и, что эта заботливость, какъ другіе продѣлывали, остановится на полдорогь—этого мысль не допускала.

Но тяжесть, совершенно безпричинная, тяжесть грядущаго креста не покидала меня.

— Что же, можетъ быть? — спрашивалъ я себя: — Чего боюсь теперь, когда нашелся такой человъкъ? Здоровье подорвано — меня отправляютъ лечить. Знаній нътъ — дадутъ возможность учиться.

Отвъта на мою боязнь не было. А тяжесть давила до отчаянія, до безъ исходности, давила до опасенія, что если я въ своихъ страхахъ не могу отдать себъ отчета, значитъ у меня въ головъ не ладно.

Явилась хитрая мысль испытать свою «мысль». Я захотъль отдать себъ отчеть въ странности своего поведенія у Горькаго—въ томъ, что дъйствоваль какъ-то слъпо.

Оказалось что мысль работаеть еще надежно. Она сказала мнѣ, что когда человѣкъ подавленъ предчувствіемъ и вообще всѣми тѣми сложными и смутными внутренними побужденіями и переживаніями,—она сказала мнѣ, что

тогда наша «гордая мысль» въ полной паник в отступаеть на задній планъ и не даеть намъ никакихъ указаній: тогда человъкъ дъйствуеть инстинктивно.

Она сказала мнѣ, что инстинктъ живетъ отъ мысли не только самъ по себѣ, но и подчиняетъ себѣ мысль въ тѣхъ случаяхъ, когда почему-либо нужно ее подчинить.

Неспособная понять мотивовъ дъйствій инстинкта, она молчить или иногда протестуєть, что всегда безрезультатно, но когда дъйствіе совершено, мысль прежде мириться съ дъйствіемъ, какъ съ совершившимся фактомъ, потомъ постепенно проникается важностью и пънностью этого дъйствія и, тогда-то начинается ея торжество: тогда она забываеть о силъ инстинкта, о томъ, что инстинктъ (разумъю инстинктъ высшаго порядка *) идетъ въ жизни своимъ особеннымъ путемъ и къ наиболъе скрытымъ по-

^{*)} Современная культура—время такой утонченной мысли, когда «на умныхъ людей по современнымъ понятіямъ» наталкиваешься на каждомъ шагу, но натолкнуться ма мастоящаю человъка—такіе въ наше время «бълые слоны!» Даю поводъ посмъяться надъ собой господамъ отъ культуры. Главная пънность современной культуры въ томъ, что она культивируетъ инстинкты только низменнаго порядка—инстинкты только своего «я». Инстинкты повыше—это ей не по плечу. Зато и пожинаетъ обильные плоды: свиней въ жизни не оберешься. Мало у человъчества остается пънностей отъ въчности: вмъстъ съ падалью свиньи не задумываясь кушаютъ и святымю!

знаніямъ, *moida* она кричитъ, что человѣкомъ руководитъ только она одна: она — «всеобъемлющая мысль!»

И вотъ эта-то «всеобъемлющая мысль» торжествовала. Инстинктъ самосохраненія поставиль высшую форму гарантіи, а мысль все приписывала себъ:

— Пойми, чего бояться? Вѣдь, при томъ, что было, смерть была свидѣтель!

Доводъ казался сильнымъ, а тоска и тяжесть не уменьшались; съ ними я добрался до дому и до вечера страдалъ-то съ тупой покорностью, когда чувствуешь какъ глаза твои умоляюще блуждають по предметамъ, то съ бъщенствомъ. Тогда я представлялъ себъ городъ, его людей, не подлинныхъ, а подмъненныхъ имъ, и со страстью ненависти хотълось:

— Да, да, надо войти въ этотъ міръ; надо узнать, гдѣ въ немъ кроются Каины духа и тѣла; войти въ этотъ міръ тихенькимъ, незамѣтнымъ: для того, чтобы высмотрѣть, гдѣ у этихъ господъ Аххилесова ията. О, не бойтесь! варваръ, который сумѣетъ понять васъ—почему вы допускаете, что этотъ варваръ не сможетъ понять истинныхъ пріобрѣтеній вашей культуры и сохранить ихъ? Не бойтесь. Истинно избранные останутся избранными, а тѣ что явились незваными, тѣ что изъ крови и пота массъ создаютъ себѣ пышный и безконечный пиръ жизни... вотъ ихъ надо спросить, почему они сверху

внизъ смотрятъ на задавленныхъ, спросить объ особой справедливости, объ особой логикѣ, объ особомъ правѣ... вообще о томъ, что всегда и вездѣ даетъ имъ первенство, взятое хитростью, обманомъ, насиліемъ... Нельзя такъ жить! Что мнѣ дали? Не дали пока ничего, а душу отравили. Жизнь—уже пытка, ужасъ, судорожныя метанія на смерть раненаго звѣря. И развѣ я одинъ? Тысячи, милліоны такъ мечутся.

И такъ глубоко въ эти минуты ненависти я върилъ въ своего учителя—въ Горькаго:

— Онъ глубже раскроетъ мнѣ этотъ міръ... Онъ научитъ меня писать голосомъ неотразимой жизненной правды...

А вечеромъ я получилъ письмо отъ той, которая такъ щедра съ грошевыхъ уроковъ. Сразу во мнѣ упадокъ, сразу затишье и бодрость. Я написалъ ей отвѣтъ, гдѣ говорилъ, что у меня все идетъ такъ, когда лучшаго и желатъ нечего, что «сегодня у меня самый счастливъйшій день моей жизни: но и самый отвѣтственный: я долженъ оправдать заботы Горькаго о себъ.

А на другой день я отправился къ мѣсту своего леченія.

Полтора мъсяца я пролечился. И все это время прошло не легко.

Въра въ человъка, побитая людьми до Горькаго, давала себя чувствовать слишкомъ мучительно. Очень пуганная ворона не только куста боится, но и создаетъ себъ ихъ: деньги миъ Горькій выслаль, но на мои письма не отвѣтиль мнѣ ни одной строкой—и это вселяло въ меня уже ясную мнѣ боязнь, что какъ бы онъ не поступиль со мной какъ и другіе.

Мучился я за это чувство стыдомъ за себя, утѣшалъ, что у человѣка и работы много, и корреспонденція поважнѣе, чѣмъ къ моей особѣ, и все таки не могъ вытравить изъ себя эту боязнь.

Она жила во мнѣ неотступно; если я пытался выискать что нибудь противъ нея—она сейчасъ же находила «за» за себя.

Напримъръ, я читалъ его книги: чтобы почерпнуть въру въ него, вернуть былое — отъ нихъ на меня въяло той твердостью и опредъленностью убъжденій, которыя застыли въ жестокихъ формахъ и, върнъе всего говорять объ отчужденности отъ жизни и человъка.

Тогда я отбрасываль его книги, брался за другія—боль родили и другія. И ть и другія—оторванность отъ жизни: въ одньхъ «ничего въ человькъ, ничего для человька, все для моего «я»; въ другихъ это «я» уже съ ръжушей откровенностью: «все въ человъкъ, все для человъка!»

Я отбрасывалъ книги:

— Ни то, ни другое. Человѣкъ ползающій по землѣ, стонущій, страдающій никогда не примирится съ тѣмъ; что «для него ничего» и «въ немъ ничего»... Никогда не примирится. Не нужно намъ такъ же и гордыхъ фразъ.

Къ чему онъ? Если ты не забыль, что такое весь міръ — прошлый, настоящій, грядущій, съ милліардами умершихъ, живущихъ, имѣющихъ житъ, — если ты не забылъ этого, ты никогда не скажещь себъ: «все въ человъкъ, все для человъка!» Это ложь. Или то самоослъпленіе, когда не желаешь или не можеть видъть до какихъ границъ человъкъ вправъ считать себя на землъ свободнымъ и гдъ границы, гдъ онъ долженъ подчиняться необходимости.

Такими фразами можно упиваться какъ музыкой, возноситься въ высь, но затъмъ, чтобъ больно оттуда шлепнуться. А когда шлепнешься, то, пожалуй, и не скажешь себъ: «все во мнъ, все для меня, да здравствуетъ, молъ, царь земли—человъкъ!» Нътъ, — посмотришь взадъ и впередъ, оглянешься по сторонамъ — и не скажешь. Задумаешься!

Отдыхалъ я на одномъ только Чеховѣ. Онъ не морализировалъ, не проповѣдывалъ, не говорилъ лишнихъ и непужныхъ словъ, но его тонкій и длинный бичъ стегалъ человѣческое ничтожество и пошлость глубже и больнѣе всѣхъ. Въ минуты наиболѣе глубокой тоски я бралъ его книги и шелъ въ паркъ курорта. Здѣсь въ обычные часы весь курортный съѣздъ въ сборѣ; нѣсколько сотъ людей и всѣ почти знаютъ другъ-друга въ лицо.

Прежде я удивлялся: большинство вижшне цвътущіе здоровьемъ люди—и ъдуть лъчиться? Чъмъ больны?

Потомъ пересталъ: безнадежно больные духомъ! Горькіе герои Чехова. О чемъ онъ имъ съ тоскою и болью говорилъ? О нихъ же. А они читали его прежде гнали, потомъ стали похваливать и говорить, что «интересенъ, но мало отражаетъ общественность».

Безнадежно больные духомъ, которые вмѣсто того, чтобы вглядываться въ себя жадно ишутъ только оправданія собственнаго ничтожества въ другихъ. Въ общемъ, — не жизнь, а несчастная въ своемъ уродствѣ суета. Никто не поднимется надъ этой суетой. Противъ чего надо протестовать — не видятъ, а если и видятъ — молчатъ. До того-ли? Временное, случайное, низменное пройдетъ мимо, если его не ловить. Во что бы то ни стало, какъ можно побольше воздатъ «Кесарево Кесарю», а «Божье Богу?!» — намъ не до того, пусть этимъ занимается кто

Попробуйте говорить имъ, что жизнь полна страшныхъ истинъ и, если этимъ истинамъ не заглядывать во время въ лицо — онъ не оставять себя безъ расплаты, — нищіе духомъ отвернутся отъ васъ.

Скажите имъ, что безъ совъсти жить нельзя, что только она одна, когда она встаетъ въ человъкъ во весь свой ростъ, утвержденіе, что человъкъ не звърь и не себялюбивая дрянь—скажите имъ: они обидятся и возненавидятъ васъ.

Попытайтесь подойти къ нимъ со всей силой смиренія души—они обдадуть васъ презритель-

нымъ высокомъріемъ и, нищій изъ нищихъ ду-

Это злобное, тупое стадо, которое по своей злости и тупости отравляеть жизнь и себъ и другимъ.

Созидать цѣнное для настоящей жизни—этого они не могутъ въ себя вмѣстить; работать ради будущихъ поколѣній, гдѣ бы многіе имѣли право своимъ существованіемъ сказать: «Я не подмѣненный, а подлинный человѣкъ»—это для нихъ пустой звукъ, звукъ не дающій никакого представленія.

Къ концу леченія я отослалъ Горькому вновь написанный разсказъ. Разсказъ — плодъ моей боязни. Вотъ она зависимость то: и лечился и трепеталь, чтобы какъ бы вновь не очутиться въроли рака на мели—и все-таки писалъ. Писалъ судорожно, съ цѣлью поскорѣе опредѣлить свое положеніе: вновь-ли получить подтвержденіе, что ты не бездаренъ, или сложить оружіе. Разсказъ сопроводилъ письмомъ, гдѣ опять говорилъ, что сомнѣваюсь въ цѣнности своихъ произведеній и опять повторялъ, что не лучше-ли будетъ, если мнѣ бросить писать.

Леченіе кончилось. Въ послѣднихъ числахъ августа я прибыль къ Горькому. Прислуга провела меня въ небольшую комнату и попросила обождать. Горькій не появлялся съ четверть часа; и эти четверть часа были для меня величаса;

чайшими, но безплодными усиліями надъ

Я чувствоваль, что я очень холодень, очень сухъ и сдержань; такимъ быть вообще не подобаеть, когда тебѣ благодѣтельствують: благодѣтели любять благодарныя лица. Но туть мнѣ хотѣлось быть инымъ—по другимъ причинамъ; вѣдь я этого человѣка любилъ полной мѣрой! А такая любовь создаетъ грезы не о такихъ отношеніяхъ: къ любимому надо идти со свѣтлымъ лицомъ, а не съ тѣмъ мрачнымъ отпечаткомъ, который наложили на твое лицо другіе.

Тихо я бродиль изъ угла въ уголъ по комнать и, чувствуя, что себя мит не побороть, мучительно думалъ надъ странностью отношений.

Такъ я любилъ этого человъка издали, такъ безгранично въ него върилъ, но когда встрътился съ нимъ — ни отъ кого я не былъ отгороженъ такой тяжелой стъной, какъ отъ него!

Что это такое? Любовь цъла, а въра въ любимаго колеблется? И колеблется безъ всякихъ основаній? Какихъ же еще доказательствъ мні надо?

Но вопросы оставались вопросами, а внутренияя пытка росла. Было въ ней и инстинктивное сознаніе своей правоты и мысленное сознаніе, *) что я сталъ ни что иное, какъ дрянь, что люди предшествовавшіе Горькому изломали меня вѣроятно непоправимо: меня сдѣлали ничтожествомъ, я калъка—не только тъломъ, но уже и духомъ—у меня разбили въру въ человъка!

И острый стыдъ пронизывалъ меня.

Воть онъ сейчасъ войдетъ. Какъ я взгляну ему въ глаза?..

Но, когда вошелъ Горькій—стыдъ мой исчезъ, исчезла также холодность, сухость, осталась нѣ-которыя сдержанность, но сдержанность естественная, непринужденная. И здороваясь съ нимъ, я прямо ему взглянулъ въ глаза—взглянулъ кротко, тихо, съ яснымъ чувствомъ, что я воспиталъ въ себѣ къ этому человѣку необъятную, благоговѣйную любовь, а одновременно и съ другимъ чувствомъ—непонятнымъ для меня: съ такой глубокой, смертельной тоской я взглянулъ на негосъ такой тоской смотрятъ только люди съ серднемъ разбитымъ печалью...

Все во мить замерло. Печаль моя во мить выше всего.

Онъ спросиль меня, что не чувствую ли я себя лучше послѣ леченія. Я отвѣтилъ, что по мнѣнію врачей, благотворные результаты леченія наступають не сразу, а постепенно, что одного этого курса для меня недостаточно—это только начало леченія.

Поднятый вопросъ близко касался меня, а я говориль о немъ машинально, тъмъ тономъ, когда передають чужія слова только затъмъ, что ихъ нужно передать. Потомъ Горькій какъ-то внезапно спросилъ:

^{*)} Мысль всегда и везят унижаеть человъка.

[—] Что вы думаете теперь дъзать?

Я сказаль, что мнь хотьлось бы имъть какое нибудь мъсто.

Онъ подумалъ — и медленно и увъренно сказалъ:

— Я васъ устрою въ художественный театръ. Но это потомъ, а теперь слъдуетъ васъ отправить въ Ялту. Здъсь осенніе мъсяца для васъ будутъ тяжелы, а тамъ ихъ легче переживете. Море тамъ посмотрите: это вамъ тоже нужно.

Помолчалъ.

— Опредъленно пока этого не объщаю Но если на дняхъ получу изъ-за-границы деньги, тогда такъ и сдълаемъ. Оставъте свой адресъ. Денька черезъ три вопросъ о деньгахъ у меня выяснится—тогда я вышлю вамъ деньги и письмо къ одному писателю въ Ялтъ: чтобы онъ васъ получше тамъ устроилъ.

Я далъ адресъ, поблагодарилъ. И спросилъ относительно разсказа, посланнаго изъ Руссы.

— Пока его не читалъ. Но въ скоромъ времени прочту.

Затъмъ мы простились.

Я вполн'в оц'внилъ такую тонкую, трогательную предусмотрительность, что въ Ялт'в осень мн'в пережить легче: я говорилъ себ'в, что получая новыя и новыя подтвержденія челов'вчности этого челов'вка, я долженъ откинуть вс'в сомн'внія о немъ, я долженъ въ него в'врить безъ единой дурной мысли о немъ И я в'врилъ. Но не долго. Пять дней я прожилъ въ ожиданіи отъ него изв'встій, испытывая тихую радость, что есть челов'вкъ, который не бросить

меня безпомощнаго, но эту тихую радость давила печаль, огромная, смутная печаль.

А уже послѣ пяти дней началъ тревожиться. Прошла недѣля, наступила другая, и она шла къ концу—а отъ Горькаго никакихъ извѣстій-

И опять что-то зловъщее, опять дикія мысли, въ которая и самъ не въришь, а мучаешься, что и этотъ броситъ, забудетъ какъ забыли другіе.

 Объщался написать черезъ нъсколько дней—и до сихъ поръ ничего! Чъмъ объяснить?

Эта фраза и этотъ вопросъ мучили меня подъконецъ второй недъли безъ устали, даже во снъ. И во снъ я повторялъ то заключение, къкакому приходилъ днемъ:

- Невыносимо... невыносимо такъ жить!

Объяснение потомъ нашлось. Очень простое. Горький перепуталъ адресъ и, когда шли справ-

ки въ адресномъ столъ, деньги лежали на главномъ почтамтъ.

Но получивъ деньги я почему-то не получилъ ни отъ Горькаго письма, ни письма къ писателю въ Ялтъ.

Ѣду къ нему и не удачно: онъ уѣхалъ въ Москву, гдѣ останется на всю осень и зиму.

Эти свъдънія дають мнѣ прежде мысль написать ему, что нужнаго письма я почему-то не получилъ, но потомъ эта мысль смѣняется рѣшеніемъ ѣхать тоже въ Москву.

И я ѣду.

Все сложилось такъ, какъ я желалъ.

Встрѣча вышла мягкой и теплой. На мои объясненія, какъ я получилъ деньги, но совстиъ не получиль письма — Горькій съ улыбкой упрека себѣ покачалъ головой:

- Адресь перепуталь? Какъ же это я такъ? Ну, бѣда поправима: напишемъ другое письмо. Набираясь рѣшимости, я немного помолчалъ.
- Алексъй Максимовичъ, у меня къ вамъ просьба: если это можно — нельзя-ли мнѣ въ Ялту не ѣхать? Я хотѣль бы остаться здѣсь.

Горькій немного удивился:

— Почему? Ну. и человѣкъ. Тамъ-море! Кромѣ моря— какая природа... А главное—климатъ. Здъсь скоро наступять дожди, слякоть; вамъ съ такимъ ревматизмомъ плохо здѣсь будетъ.

«Почему?»

Не объяснять же ему, что меня преслѣдуетъ какая-то манія невърія, что я могу чувствовать себя спокойнъе лишь тогда, когда насъ не отділяеть большое разстояніе?

Вновь я помолчаль и тихо отвътиль:

- Мнѣ хотълось бы быть поближе къ вамъ. Черта хорошихъ натуръ-это очень скромно, даже стыдливо принимать выраженія хорошихъ чувствъ въ себъ и стыдливо выражать свои чувства такого же порядка.

Эта черта есть у Горькаго. Взглядъ съ моего лица онь перевель въ сторону; лицо его подернулось мягкой дымкой смущенія и, тоже тихо онъ сказалъ:

- Тогда оставайтесь здѣсь. Неволить грѣхъ. И уже съ веселой улыбкой:
- Вотъ, какъ наступитъ слякоть тогда и пожалвете объ Ялтв.

Я тоже улыбнулся:

- Нътъ, не пожалью. Сейчасъ иду комнату себъ искать.
- Илите. Комнату ищите хорошую, не сырую. А когда устроитесь, сообщите адресъ.

Принимая въ разсчетъ свои никудышныя ноги, я комнату нашелъ себъ, какъ разъ противъ художественнаго театра: недалеко ходить, когда Горькій устроить меня въ него на какое-нибудь дъло!

Сообщилъ Горькому адресъ и засѣлъ за работу. «Надо работать». — Эти слова были для меня бичомъ. Чувствовалась настоятельная необходимость продолжительнаго отдыха, но какъ думать объ отдыхѣ, когда сидишь на чужой шеъ? Первыя три недъли я провелъ въ общемъ спокойно, но дальше... Деньги, эти проклятыя деньги — они на исходъ, и это выводить меня изъ равновъсія. Опять это мучительно-гнетущее чувство, когда пойдешь за ними, опять сомнъніе въ пригодности того, что ты пишешь. Я пишу Горькому письмо, гдѣ прошу высказать мнъніе о томъ разсказъ, который выслалъ ему изъ Руссы.

Я боюсь быть навязчивымъ, я сознаю, что, можеть быть, отрываю его оть своего дъла, н все таки пишу, ибо деньги на исходъ: благопріятное мнъніе о разсказъ облегчить просьбу о нихъ. Въ ожиданіи я волнуюсь до крайностей.

— Ну, а что, если онъ напишетъ, что вещь безнадежна? Что тогда?

Это «тогда» говорить мнь о печальномь конць? Тупо, по цылымь часамь я просиживаю за письменнымь столомь, думая, что неопредыленность положенія и матеріальная зависимость убивають меня больше чымь бользнь, не дають мнь возможности спокойно и вполны продуманно работать.

Наконецъ, получаю письмо отъ Горькаго и свой разсказъ.

«Васька Богдановъ—великолъпная тема, но написана плохо. Длинно! Скучно! Для меня несомнънно, что вы будете писать и должны писать, но теперь вамъ нужно—учиться. Нужно читать и читать какъ можно больше и—хорошія книги. Получивъ это письмо и рукопись—приходите ко мнъ часовъ въ 12 или въ 5. Нужно поговорить»

Я мало радуюсь фразъ, что «я буду писать и должент писать». Я чувствую одно огромное облегченіе, что теперь мнъ легче будеть заговорить о деньгахъ. И грустно на душъ: если бы Горькій зналъ подъ давленіемъ чего я пишу свои разсказы!

Я беру читанную имъ рукопись, просматриваю и понимаю, что страхъ быть покинутымъ,

висить надо мной, какъ Дамокловъ мечъ; этотъ страхъ заставляетъ меня спъщить, спъщить до того, что я успъваю выявить только мысль, замыселъ, а облечь этотъ замыселъ въ нужную форму, въ красивыя краски — мой истощенный, малокровный мозгъ требуетъ на это время, а я ему этого не даю.

Съ грустнымъ чувствомъ, я въ 5 часовъ ѣду къ Горькому и въ первый разъ попадаю къ знаменитости на обѣдъ.

На мое счастье, кром в Горькаго и его жены за объдомъ никого.

И онъ и она ко мнѣ необыкновенно милы, участливы; я чувствую, что меня хотять «отогрѣть» и расцвѣтаю настолько, насколько можеть вообще расцвѣсть человѣкъ сильно иззябшій въ жизни и ушибленный ею.

Я сыть; уже пообъдаль дома, но меня заставляють ъсть, полагая что я стъсняюсь.

Я сыть, пріемъ таковъ, что будь голодень и забудешь о голодѣ. Я покоряюсь и ѣмъ. Меня журять за нелюдимость.

— Что же это вы? Столько времени прошло, а вы до сихъ поръ къ намъ и не заглянули, говоритъ Марія Өедоровна.

Горькій подхватиль:

— Да, да! Я тоже хотыть сказать. Заходите къ намъ попросту какъ свой человъкъ. Объдаемъ мы всегда въ это время. У насъ бываютъ артисты, художники, писатели. А вамъ такихъ людей необходимо надо видъть.

Я на седьмомъ небъ. Благодарю и объщаюсь бывать.

— Въ театръ вамъ тоже непременно нужно бывать—добавляетъ Горькій.

Я на это отмахиваюсь рукой и заявляю, что слишкомъ дорого буду тогда Горькому стоить. Потомъ разсказываю, что дороговизна жизни въ Москвъ меня ужасаеть, что за одну только комнату плачу 24 рубля, а со всъми остальными расходами мнъ нужно около 60 рублей въ мъсяцъ.

Какіе же туть театры? Театры для меня дорогая вещь: въ театръ—на извозчикъ, изъ театра тоже.

Надо мной весело смѣются. Потомъ Горькій говоритъ:

— Деньги? Что деньги? Когда деньги выходять, пожалуйста, не стъсняйтесь. Съ этимъ обращайтесь вотъ къ Марьъ Өедоровнъ; деньгами она у меня завъдуетъ. А въ театръ всетаки бывайте. Это вамъ тоже необходимо.

Я чувствую, что все предусмотръно, чтобы меня «приручить», чтобы сгладить мою остроту чувства зависимости—но противъ театровъ протестую:

— Не рѣшусь. Дорого очень. Вотъ, если Марья Өедоровна раздобриться на даровые билеты мнѣ въ художественный театръ, тогда... «на дармачка» не откажусь.

Надъ «дармачкомъ» улыбаются и, по возможности объщаются доставать билеты, Потомь

Горькій предложиль мн'в разсказъ «Васька Богдановъ» попытаться передълать въ пьесу:

— Жаль его печатать, какъ разсказъ; разсказъ мало даетъ. А когда передълаете—тогда посмотримъ...

И еще сюрпризъ:

— Вотъ что. Сегодня я вамъ дамъ письмо къ одному доктору; идите завтра къ нему—онъ осмотритъ васъ и направитъ, гдѣ и чѣмъ вамъ нужно лечиться. Писатель долженъ быть здоровымъ человѣкомъ.

Я уже не благодарю; я подавленъ заботами обо мнѣ до того, когда все принимается молча; наклоняю голову и коротко говорю:

— Хорошо,

Объдъ кончился.

Я получаю письмо, деньги, еще разъ напоминаніе чтобы я заходиль «запросто», не стъснялся въ расходахь—и ъду домой.

Тихо на душѣ. Вся тяжесть прошлой жизни-гдѣ-то далеко-далеко; чудится новая жизнь, новые прекрасные люди...

Изъ этихъ прекрасныхъ людей я зналъ пока еще двоихъ; тъхъ, которыхъ только что оставилъ, но ради этихъ двоихъ все тяжкое и грубое въ прошлой жизни мнъ хотълось простить и забыть.

Прошло два мѣсяца.

Два мъсяца головокружительныхъ обмановъ и темнаго страха.

Я лечился въ хорошей лечебницъ. Пьеса, передъланная изъ разсказа—дала мнъ нъчто совершенно нежданно-негаданное.

Два раза я Горькому напоминаль о его объшаніи устроить меня при Художественномь театрѣ; какъ ни просили меня «не стѣсняться, когда нужны деньги», но я все таки тяготился зависимостью и предпочиталь имѣть свое.

На мон просьбы Горькій разъ мнѣ отвѣтилъ, что какъ нибудь объ этомъ онъ съ дирекціей поговоритъ, а когда я заикнулся во второй разъ, онъ прямо заявилъ:

— Говорилъ вамъ и опять говорю: не стъсняйтесь, когда нужны деньги. Почему вамъ непремънно мъсто? Для писателя очень плохо, когда онъ связанъ какимъ нибудь дъломъ.

Но, когда я передълаль разсказъ въ пьесу и онъ прочиталъ ее—тогда мысль о мъстъ онъ у меня отнялъ окончательно.

— Вотъ вы все говорили о мъстъ. На что вамъ оно? Эту пьесу я поставлю въ Художественномъ театръ. Она васъ обезпечитъ.

Я быль ошеломлень; растерялся до того, что какъ истый мужикъ, почесаль въ затылкъ и глупо произнесъ:

— Hy...

А Горькій добавилъ:

— Тысячи двѣ ежегодно вамъ дастъ. Въ этомъ же сезонѣ поставимъ.

Слово «поставимъ» звучало такой увъренностью, что мнъ и въ голову не пришло сомнъваться въ этомъ. Въ пьесъ *) Горькимъ были сдъланы указанія на незначительныя измъненія—и эти указанія онъ попросилъ меня выполнить поскоръе:

— Долго не задерживайте. Принесете, я еще разъ просмотрю и пошлемъ въ цензуру.

Я по его указаніямъ исправилъ, отнесъ ему и... съ этихъ поръ началъ дълать глупости.

Первая глупость.

Вдохновленный тъмъ, что изъ моего разсказа вышла двухактная пьеса, да не для какого нибудь театра, а для Художественнаго—я читаю пьесы Ибсена, Гауптмана, нашихъ отечественныхъ драматурговъ, а потомъ... потомъ пишу четырехактную пьесу.

Меня зажгли, мнъ одурманили голову и я убиваю себя, заставляя свой малокровный мозгъ, лихорадочно работать по 14 часовъ въ сутки сидя за столомъ, да кромъ этого еще по ночамъ въ постели: вздремну часъ-другой и просыпаюсь и при свътъ свъчи пишу карандашомъ на клочкахъ бумаги.

Пятнадцать такихъ безумныхъ дней—и пьеса въ чернъ готова.

Со мной вмѣстѣ въ лечебницѣ лечится драматургъ Ю. и артистъ А. И. Өедотовъ. **) Я лечусь отъ ревматизма; доктора довольны, когда

^{*)} Эта пьеса будеть напечатана к-вомъ «Современныхъ проблемъ».

^{**)} Покойный.

у меня за недѣлю прибавляется фунтъ вѣсу; они лечатся отъ ожиренія.

Ю. — титулованный аристократь; онъ мной очень интересуется, очень ко мнъ любезенъ—но моему самолюбію плебея это нисколько не льстить: я хорошо учитываю всю силу событій конца 1905 года и внутренне усмъхаюсь:

— Вотъ она гроза то!..

Въ другое время этотъ человѣкъ удостоилъ бы меня только взглядомъ сверху-внизъ, а теперь... теперь меня увѣряютъ уста титулованнаго человѣка, что титулы—это предразсудки, что на трудящіеся классы онъ смотритъ не только съ точки зрѣнія равенства, но и выше: жизнь требуетъ обновленія, а господствующая надъ ней аристократія этого дать не можетъ, она вырождается; идутъ новые строители жизни—трудящіеся классы и они вольютъ въ нее новое и здоровое содержаніе...

И вотъ, Ю. узнаетъ отъ меня, что я написалъ четырех-актную пьесу и, заявляетъ:

Очень радъ буду ознакомиться съ ней.
 Дайте почитать.

Я говорю, что почеркъ мой безобразенъ и читать его очень трудно.

— Ничего, освоюсь.

Пьесу я намѣтилъ къ обработкѣ; мнѣ очень хочется поскорѣе ее выправить и отдать на просмотръ Горькому, но и мнѣніе драматурга интересуетъ. И я предлагаю:

- Очень радъ буду вашему просмотру; буду

благодаренъ вамъ за указанія, по вотъ бъда: пока вы ее будете читать—съ меня спадетъ настроеніе работать надъ ней. Такая ужъ у меня особенность. Насколько вы ее задержите?

— Быстро прочту.

— Дня въ три-въ четыре успъете?

— Вполнъ. Объщаю въ три дня.

Я вручаю пьесу и искренно жалъю:

— Посмотрите, что за почеркъ? Тяжелый трудъ на себя берете. Можетъ быть, подождете, когда она будетъ переписана получше?

Смотритъ Ю. на почеркъ и улыбается.

— Почеркъ не красивъ, но въ общемъ разборчивъ.

И върно: Ю. свое слово сдержалъ. Черезъ три дня дълится со мной впечатлъніями о моей пьесъ.

Съ паносомъ и жестами присущими артистамъ онъ долго говоритъ о тъхъ герояхъ пьесы, которые ему наиболъе понравились.

Прежде я съ острымъ вниманіемъ слушаю его-потомъ мое вниманіе притупляется.

Въ общемъ все похвалы, похвалы, но считатьли эти похвалы за дъйствительныя цънности этого я не чувствую.

Положительное я приму отъ человъка только тогда за положительное, когда вижу, что этотъ человъкъ можетъ уяснять себъ и обратную сторону положительнаго—отрицательное.

Словомъ, если хорошо-то почему?, если пло-

хо-то тоже?.

Иначе похвалы и перицанія для меня пустыя звуки.

Долго говорилъ Ю. и кончилъ тѣмъ:

— Пьеса безусловно достойна постановки. По моему, какъ драматургъ, вы далеко пойдете: главное для драматурга у васъ есть—это умѣнье завязывать въ интересахъ мѣстахъ узлы. Гдѣ вы ее думаете ставить?

Со скучнымъ чувствомъ въ душѣ я принялъ этотъ послѣдній панегирикъ и отвѣтилъ, что мѣсто постановки пьесы зависитъ отъ Горькаго

Потомъ я прочелъ эту пьесу А. И. Өедотову; онъ на похвалы оказался скупъ и сдѣлалъ нѣсколько такихъ существенныхъ замѣчаній о недостаткахъ пьесы, за которые я могъ быть только благодаренъ.

А въ общемъ, и его мнѣніе было таково, что пьеса постановки достойна.

Категорически объщанная постановка двухактной пьесы въ этомъ-же сезонъ, вновь написанная четырехактная и тоже не безнадежная—все это моей головы настолько, чтобы я вообразиль себя исключительнымъ дарованіемъ и сталъ рисовать себъ большія перспективы, не вскружило, но на столько, чтобы спокойно глядъть на свое будущее—на эту мъру я быль обманутъ.

Меня толкнули на ложный путь,*) а я началъ играть въ великолушіе: пусть я много пострадалъ, помытарился, но все таки я не погибъ-значитъ надо все и всѣмъ простить.

И я все прощаю, всёхъ предаю забвеню, кромѣ батюшки: онъ ультра-моралистъ, а потому съ него надо кое что спросить, ибо за эту мораль онъ удитъ не малыя денежки.

И воть я пишу ему, что если тоть матеріаль, который я даль ему и, за который мнѣ было объщано заплатить дороже, чъмъ бы мнѣ за него заплатила любая редакція, что если этоть матеріаль у батюшки цѣлъ, если онъ его не утилизироваль на то, на что думаль—пусть онъ вернеть его мнѣ, я воспользуюсь имъ самъ.

А потомъ... потомъ ни слова ни говоря о томъ, въ какое положение поставилъ меня его внезапный отъѣздъ, какъ я изъ этого положения вышелъ—прямо пишу, что дѣла мои поправляются, что въ этомъ сезонѣ мнѣ обѣщана постановка моей пьесы на сценѣ Художественнаго театра, (кѣмъ обѣщана—объ этомъ тоже ни слова) но пока я все еще нуждаюсь и прошу помочь пережить мнѣ трудное время: «Мнѣ нужно рублей 150, въ крайнемъ случаѣ 100; если у васъ будетъ возможность оказать мнѣ эту поддержку, я, когда поставитс я моя пьеса, верну вамъ эти деньги, а такъ же и тѣ, которыми былъ обязанъ раньше съ глубокой благодарностью».

Отвътъ не заставилъ себя долго ждать: я получилъ его черезъ три дня.

«Большое спасибо, что откликнулись. Какъ здоровье? Очень радъ, что вы ра-

^{*)} Потому этотъ путь называю «ложнымъ»: толкнули на этотъ путь и бросили на немъ. Словомъ, люди, какъ люди!...

ботаете, но боюсь, что вы создаете себь иллюзію, будто поставять Вашу ньесу у Станиславскаго. Не думаю. Вамъ еще много надо работать надъ собой. Статьи Ваши всть нетронуты. Могу выслать. Съ деньгами заминка. Не могу дать. Много ушло на рабочихъ во время забастовки и сейчасъ идетъ на стипендіи студенчеству. Жаль, но не могу. Привътъ».

Я прочель И... скривиль губы.

Не то письмо... Не тъ слова...

«Большое спасибо, что откликнулись».

Доволенъ человъкъ. Даже «большое спасибо говоритъ»...

«Какъ здоровье?...

Лучше батюшка, да только не по вашей ми-

Не то письмо, не тѣ слова... Ложь и ложь... И самодовольство буржуа въ рясѣ, что въ дѣлѣ милосердія «и онъ пашетъ». Что за сѣмена на этой пашнѣ онъ сѣетъ — этого не видитъ; посѣялъ немного и довольно: дальше платонизмами отдѣлаемся!

А если человъкъ встанетъ, поднимется, да промолчитъ, чъмъ онъ платился за такую помощь, за роль «человъка-мячика»—тогда и пальцемъ на него покажемъ: «въ трудное время ему помогъ!»

И всякій принишеть честь спасенія челов вка себъ.

Не въридъ я «ни въ рабочихъ», «ни въ сти-

пендіи студенчеству»; или, в риль, но... если дорого продаешь на книжномъ рынк свою мораль, такъ, в в дь, для этого нужна реклама!

Зналъ я эти тощія брошюрки на скверной бумагк, но цѣна имъ такъ высока... цѣну только и можетъ оправдать реклама «добраго человѣка». «Не только, молъ, учитъ, но и самъ на дѣлѣ осуществляетъ свое ученіе».

Радъ, что я «откликнулся» и хоть бы одно слово о томъ, какъ я дотянулъ до возможности откликнуться?

Какъ жилъ? Гдѣ? На что?

Ни одного такого вопроса. Какъ будто манна съ неба падаетъ!

О, вы «повапленные гроба»! Тѣ лидемъры и фарисеи, что «по наружности кажетесь людямъ праведными, а внутри исполнены лицемърія и беззаконія».

Потомъ меня душила злоба на себя.

— Идіотъ, — говорилъ я себъ: — Ты котътъ вступить на путь великодушія, на путь прощенія: вотъ пожинай теперь плоды. Ты котътъ перекинуть мостикъ черезъ бездну — бездна раскинулась еще шире и глубже. Ты протянулъ руку примиренія — тебя не поняли, обошли, ты стоишь съ протянутой рукой ошельмованный, оплеванный, а фарисей тамъ, можетъ быть, злорадствуетъ на тебя за то, что ты еще разъ посягнуль на его «серебренники». *)

[&]quot;) Даже и это предположеніе сбылось. О немъ ръчь впереди.

Потомъ было грустно и больно... такъ, какъ у человъка съ сердцемъ разбитымъ печалью.

Мой глупый и наивный планъ вступить на путь примиренія быль таковъ.

Деньги мнѣ были не нужны, ибо въ этомъ сезонѣ вѣдь постановка моей пьесы!

И воть мой разсчеть: онъ пришлеть мнъ деньги, а я ихъ черезъ недълю верну. Верну и скину съ души ту тяжесть, которую навалиль этоть буржуа въ рясъ.

Глупый и наивный человъкъ, — своимъ письмомъ я думалъ пробудить въ немъ совъсть: въдь, не можетъ же онъ не задуматься, какъ, молъ, этотъ мой бывшій протеже существуетъ до сихъ поръ?

Не можетъ не вспомнить, когда объ этомъ напоминають, что за данный матеріаль объщано заплатить больше, чёмъ кто либо заплатить?

Не задумался, не вспомниль такъ, какъ слидуетъ задуматься и вспомнить: слишкомъ толстокожъ! Деликатными намеками не проймешь значитъ остаются только грубые удары. Око за око! Я сълъ и написалъ ему.

«Пришлите, пожалуйста, мн мой матеріаль: я его постараюсь использовать, какъ сум ю! *) Постановка моей пьесы — не иллюзія: это мн категорически объщано челов комъ, им при художественномъ театр большой в съ. Сожественномъ театр большой в съ. Сожественномъ

вершенно согласенъ съ Вами, что мнѣ еше много надо работать надъ собой. И я работаю надъ собой. Буду ковать сильное оружіе противъ тѣхъ, про которыхъ сказано: «Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры, что затворяете Царство Небесное человѣкамъ; ибо сами не входите и хотящихъ войти не допускаете.» Противъ тѣхъ: «Вожди слѣпые, оцѣживающіе комара, а верблюда поглощающіе!» Словомъ, какъ человѣкъ, лучше меня знающій Евангеліе, Вы поймете меня».

Двъ тысячи ежегоднаго дохода!

Я написалъ четырехактную пьесу; напишу, можетъ быть, еще нъсколько пьесъ — но о томъ, что мнъ онъ дадутъ, объ этомъ не думаю.

Къ чему? Двѣ тысячи ежегоднаго дохода — это то, о чемъ я никогда не осмѣливался мечтать; это то, что меня сразу дѣлаетъ счастливѣйшимъ человѣкомъ.

Пусть, кому надо больше – хапаеть, а съ меня довольно и этого.

Я пишу Горькому письмо, гдв говорю, что объщанная имъ постановка моей пьесы даетъ мнв возможность къ тому, чего я такъ давно и такъ страстно хотвлъ: хочу жениться на той которая такъ щедра съ грошевыхъ уроковъ!

Въ письмъ говорю подробно о томъ, кто она и, что она для меня: я безъ этой дъвушки —

^{*)} На это письмо я отвъта не получилъ; не получилъ я также и матеріала.

земля безъ неба. Она—крылья для моего вдохновенія; тотъ чудесный источникъ, который давалъ мнъ силу и даетъ, когда я начинаю падать отъ безсилья.

Я написаль ему длинное письмо, а въ концѣ, со слезами на глазахъ говорилъ, что тѣмъ счастьемъ, что робкой тѣнью надежды жило въ моей душѣ и, что помогло мнѣ пережить то, чего одинъ бы не пережилъ—этимъ большимъ счастьемъ я обязанъ никому иному, какъ ему, Горькому.

Она, это мое «большое счастье», прівхала въ Москву въ половинъ сентября. Училась на Высшихъ Женскихъ курсахъ, гдв ей оставалось пробыть всего два года. Въраннемъ дътствѣ и юности прошедшая такой тяжкій, крестный путь, который въ концъ-концовъ учитъ вѣчному самоуглубленію, вѣчной внутренней работъ надъ собою-она была чужда поклоненію себъ; все что въ ней-ее неудовлетворяло, котелось быть большимъ и большимъ; все цели, къ которымъ она шла настойчивыми, твердыми шагами, не поднимали ее высоко въ своихъ глазахъ, а вырабатывали только критическое отношение къ себъ: смотръть на цъли въ жизни, какъ на долгъ передъ жизнью и, какъ можно строже относится къ своему «Я». Такія за себя не радуются: радуются за другихъ.

Какъ истинныя посланицы небесъ, отдаютъ сокровища своей души другимъ, а себѣ оставляютъ только право—право подвига.

И любять только техь, кто «дитя несчастья».

Она навъщала меня въ недълю раза два-три и, съ постолнной боязнью:

— Родной, не помѣшаю?

Молодая, красивая, съ голосомъ, который даваль право авторитетамъ пѣнія сулить ей заманчивую карьеру большой пѣвицы, убѣждать, что погубить такой голосъ для такой маленькой роли, какъ учительница, это преступленіе противъ искусства, бравшихся за обработку ея голоса съ условіемъ, что платить за это она будетъ тогда, когда выдвинется—она твердо стояла на своемъ:

Буду учить дѣтишекъ. Всякому свое: иному сцена, иному школа.

Дъвушка, съ такими широкими перспективами на жизнь, она меня иногда пугала:

— Слушай. Что я тебъ? Больной, изломанный мытарствами, человъкъ безъ воспитанія и образованія, человъкъ изъ другого класса— я боюсь, какъ бы вмъсто счастья не вышло несчастья.

Она хмурила брови.

— Что за глупости. Не ребенокъ. Отдаю себъ отчетъ въ томъ, что дълаю. Сердцу не прикажешь, кого любить и кого нътъ.

Она меня пугала, но она была и необходима, какъ воздухъ.

Несмотря на то, что неожиданности вродь постановки пьесы на меня падали, какъ съ неба—меня все же по временамъ охватывалъ смутимй, страшный неподавимый страхъ передъ бу-

227

дущимъ, гдъ Горькій стоялъ человъкомъ вселявшимъ въ меня острую боязнь.

МИХАИЛЪ СИВАЧЕВЪ.

Почему я его долженъ бояться? Этотъ вопросъ казался дикъ, нелъпъ; его вниманіе и участіе ко мнъ уже выросло до трогательныхъ мелочей-онъ и его жена, когда я являлся къ нимъ, спрашивали:

- А фуфайка теплая есть на васъ?
- Есть.

А одинъ разъ даже не повърили:

— Маруся, посмотри-ка, есть-ли?

«Маруся» отворачиваетъ общлага верхней рубашки и убъждается:

- Есть. Не обманываетъ.
- Ну, то-то! Фуфайки вамъ непремънно нужно носить.

Какъ я могъ допускать какую-то боязнь этого человъка?

И я не допускалъ. А страхъ давилъ, мучилъ; я говориль себѣ, что я боленъ, что надо взять себя въ руки, а страхъ не отходилъ до тъхъ поръ, пока я не мчался къ любимой дѣвушкѣ. Съ ней-у меня отъ страха только слъды недоумвнія.

Разъ она посм Бялась:

— Ты очень напуганъ другими —и больше ни-Hero.

Разъ сдѣлала выводъ:

— А знаешь что: если боишься, —значитъ не любишь. Любимаго бояться нельзя.

Я увъряль, что люблю люблю огромнымь,

необъятнымъ чувствомъ, люблю до крайности: когда я думаю о своей любви къ Горькому мнъ представляется онъ, но онъ, олицетворяюшій собою не только себя, а что-то большее, неизм вримое, что то такое то, во что мнв страстно хочется върить, какъ въ неизмънно прекрасное.

Она подумала:

- А меня не боишься?
- Нѣтъ. Въ тебя вѣрю, какъ въ Бога.
- А въ чемъ ему не въришь?
- Самъ не знаю. Прежде боялся: бросить, какъ другіе бросили. Теперь убъжденъ, что этого не будетъ, но чего-то боюсь.

И со смѣхомъ любящей женщины и съ чувствомъ матери, она меня успокаивала:

— Отбрось все это. Напугали тебя другіе до маніи-воть ты и выдумываешь.

Но моя боязнь оказалась «не маніей». Вскоръ послѣ письма, гдѣ говорилъ о намѣреніи жениться, я пошель къ Горькому.

Встрътились по обыкновенію тепло, радушно; пожимая мн руку, Горькій говориль:

— Да, отъ васъ есть здёсь письмо. Я его еще не успълъ прочесть. Въ чемъ дъло?

Я хотъль было ему объяснить, но въ это время Горькаго позвали къ какому-то прівзжему изъ Петербурга.

Я отложилъ объяснение до слъдующаго раза. Но и въ слъдующій разъ мн объясниться не пришлось: когда я пришелъ въ обычное время къ объду—Горькій уже быль за столомъ, гдѣ на этотъ разъ было человъкъ до 15 гостей.

И съ перваго момента, съ момента, когда я поздоровался съ Горькимъ и уловилъ на себъ его тяжелый, молчаливый взглядъ—впервые онъ меня встрътилъ молча, — я почувствовалъ, что что-то въ его отношеніяхъ ко мнъ случилось, что я тутъ сталъ чужой.

И это чувство не покидало меня до конца обѣда. Онъ, говоря съ другими, меня точно невидѣлъ, не бросилъ ко мнѣ ни одного слова, но три раза наши взгляды перекрещивались и я читалъ въ нихъ что-то противъ меня враждебное.

— Почему?

Этотъ вопросъ поднималъ во мнѣ всю муть моего стараго страха; поднималъ и, должно быть, отражался на мнѣ очень замѣтно.

- Вы сегодня что-то исключительно плохо выглядите,—отнеслась ко мнѣ жена Горькаго. Я отговорился другимъ.
- Возможно. Леченіе у меня очень не легкое. Горькій взглянуль на меня и, опять мой взглядь встрътился съ его и опять я прочель въ его взглядъ враждебное чувство.

Кончился объдъ. Когда вставали изъ-за стола, я сказалъ Горькому, что мнъ надо съ нимъ поговорить.

Суровымъ тономъ, съ опущенными глазами внизъ, онъ отръзалъ:

— Мнѣ некогда. Какъ нибудь потомъ.

Я ушелъ домой.

Безсонная ночь напролетъ.

То мнѣ казалось, что причина такого внезапнаго отношенія ничто иное, какъ мое письмо; тогда, я говориль себѣ, что должно быть недаромъ художникъ Вагинъ въ его «Дѣтяхъ Солнца» изрекаетъ: «художникъ долженъ быть одинъ,» — и я возмущался всей силой своего существа:

— У кого есть право накладывать свое «вето» на личную жизнь другого? И еще тотъ человъкъ, который такъ много говорить о томъ, чтобы любить жизнь, любить людей, выше всего ставить свободу личности? Если бы онъ далъ мнъ совътъ—я послъдую этому совъту, но если мнъ молча даютъ понять: «Не смъть!»—подчиниться ли мнъ? Кому больше извъстна моя «внутренняя необходимость»—ему, или мнъ?

То мит казалось, что я просто на-просто создаю изъ мухи слона: какъ у человъка стоящаго во главъ движенія—развъ у него не можетъ быть дълъ неизмъримо важите одной личности? Ему не до меня—и больше ничего.

И эта мысль восторжествовала настолько, что черезъ день мит уже казалось, что я очень глупо поступиль вмъшивая его своимъ письмомъ въ свою личную жизнь.

И я сдълалъ то, что хотълъ: любимая дъвушка стала моей женой.

Прошло двѣ недѣли.

Нужны были деньги. Но самъ я побывать за

ними не могъ: простудился и слегъ въ постель отъ лихорадки.

Говорю жент:

Иди къ Горькому, если хочешь посмотръть на него.

Она пошла съ письмомъ отъ меня. Чувство независимости въ своей личной жизни проснулось во мнъ настолько, что я въ письмъ даже не упомянулъ, что это моя жена. Припомнилось письмо, то, которое было писано «со слезами на глазахъ» и, то, что по поводу этого письма не обмолвились ни однимъ звукомъ— это письмо казалось мнъ урокомъ, чтобы впредь изъ своего «святая святыхъ души» ничего не выносить даже къ самымъ близкимъ людямъ. «Фуфайками» подкупили, ну и опростоволосился на то, на что совсъмъ не слъдуетъ, горько иронизировалъ я надъ собой.

Въ письмъ я написалъ:

«Подательница письма та особа, о которой я писаль. Самъ не могу быть: боленъ, нуждадаюсь въ деньгахъ. Будьте добры, пришлите».

Жена вернулась черезъ часъ; вернулась бодрая, оживленная—довольная тъмъ что видъла Горькаго:

— Ну, лицезрѣла знаменитаго Максима. Хотя ни обмѣнялись ни однимъ звукомъ. Его жена представила меня, онъ подалъ мнѣ руку, больше чѣмъ нужно посмотрѣлъ на меня, и ушелъ.

Я думаю надъ фразой «больше чѣмъ нужно», и машинально спрашиваю:

— А кто же деньги давалъ?

— Его жена. До того, какъ съ Горькимъ увидъться, мы съ ней проболтали съ четверть часа. Спрашивала, какъ твое здоровье, гдъ учусь, давно ли тебя знала. Я разсказывала и смъялась, что плохой ты молодоженъ: то работаешь, то болъешь.

Я ухватился за «молодожена».

«Теперь, значить, будеть знать». Хорошо. Посмотримъ, правъ-ли я въ своихъ подозрѣ-ніяхъ?

Черезъ недѣлю я отправился къ Горькому. Это было въ концѣ декабря. Всю эту недѣлю во мнѣ вспыхивали зловѣщія предчувствія, но поддаваться имъ вполнѣ въ присутствіи жены я не поддавался. Одинъ видъ ея давалъ мнѣ мужество не дѣлать преждевременныхъ заключеній.

Когда я вошелъ въ квартиру на меня сразу пахнуло недобрымъ: всюду безпорядокъ, сборы.

- Что это,—спрашиваю прислугу:—На другую квартиру перебираетесь?
 - Нътъ. Уъзжаемъ въ Петербургъ.
 - А Алексъй Максимовичъ?
- Онъ и Марья Федоровна уже увхали. Поза-вчера еще.

Я спросилъ адресъ. И пока записывалъ его-прислуга вспомнила:

— Да, вотъ кстати! Тутъ Алексъй Максимовичъ велълъ доставить вамъ что-то. Пошла и вернулась.

— Вотъ.

Развертываю и вижу... пьесу, которая катеюрически объщана къ постановкъ въ этомъ сезонъ!

Пьесу и при ней ни одной строки!

Я пошелъ домой и написалъ Горькому письмо, гдъ просилъ разъяснить мнъ о мотивахъ молчаливаго возвраста пьесы.

Прошло болъе недъли-отвъта не было.

Я послалъ повторное письмо, гдѣ сказалъ, что не вижу за собой такого поступка, когда единствелно достойнымъ отвѣтомъ является молчаніе; что воля Горькаго на то, чтобы сдѣлать для меня что нибудь положительное, т. е. чтобы дало мнѣ возможность существовать и работать, а не быть въ томъ же положеніи, въ какомъ былъ до него, или не сдѣлать—но одно я вправѣ знать: за какую вину я становлюсь въ положеніе того зачумленнаго, вниманіе къ которому когда-то доходило «до фуфаекъ», а теперь хотятъ обойдти полнымъ молчаніемъ?

Отвѣта не было.

И вотъ тогда то у меня раскрылись глаза на мон зловъщія предчувствія, когда я съ Горькимъ сходился; раскрылись на всъ тъ темныя страхи, когда меня заласкали «фуфайками».

Раскрылись глаза мои на мою *странную*, огромную любовь къ нему, на ту, что жизнь выгоорила себть ръшимостью на смерть; на ту, что когда этотъ человъкъ давалъ мнѣ иллюзіи на жизнь, а я ихъ не принималъ, чему смерть была

свидѣтель; на ту любовь, что толкнула меня на такую великую покорность: принять жизнь только потому, что онъ этого хотѣлъ!

Я обожествиль человъка постольку, поскольку его можно на землъ обожествить.

Я любилъ его не только, какъ единицу, а какъ грезу, какъ тѣнь, какъ смутное очертаніе, какъ предчувствіе того прекраснаго, что таитъ въ себѣ молчаливая темь народа, но что помоему убѣжденію должно когда нибудь выявиться: я любилъ его, какъ творчество, таящееся въ корняхъ народа, какъ прообразъ того коллектива, единственно которому возможно осуществить «Царствіе Божія на землѣ».

Я любилъ его, какъ надежду на совершенную грядущую жизнь.

А онъ, что онъ мнѣ далъ? Уподобился «буржую въ рясѣ?» Даже больше: трогательность «фуфаекъ»—превратилась въ утонченную жестокость.

И за что?

За что брошенъ и обманутъ я? За что разбита такая прекрасная въра-любовь?

И то миѣ казалось, что только за то, что я дерзнуль пойдти противъ того, что художникъ долженъ быть одинъ». Тогда я искаль большихъ подтвержденій:

Читалъ Горькаго.

И получалось такое впечатлѣніе.

Горькій создаль себъ слишкомь отвлеченныя,

слишкомъ узкія, жестокія представленія о человъкъ.

Но человъкъ сотворенъ не по образу и подобію отвлеченныхъ представленій Горькаго.

Когда Горькій живеть въ своихъ произведеніяхъ самъ—онъ живетъ комплексомъ присущихъ человѣку чувствъ, но когда онъ пишетъ о другихъ, то человѣка (по его понятіямъ) онъ непремѣнно хочетъ уложить въ рамки своихъ отвлеченностей. Новый творецъ, творецъ воспитывающій человѣчество по такому шаблону, по которому не можетъ жить самъ. Подошелъ, взглянулъ и открылъ: «Не люди, а черти лиловые; а кто такимъ быть не желаетъ—пожалуйте подъ мой ранжиръ: мои «человѣки» всѣ подъ одну скобочку острижены! Индивидуальности, говорите? Свобода духа? Чушь. Свободу духа я признаю только за собой».

Потомъ мысль, что виною моя женитьба, я отбрасывалъ: казались уже слишкомъ дико.

Но что же тогда, что?

Отвъта не было.

Темная, неразъясненная жестокость оставалась тайной—давящей, ужасающей, гд въ тысячу разъ легче было бы обвинить себя; но какъ обвинить, когда не видишь къ этому поводовъ?

Мнѣ быль нанесень чудовищный по силѣ ударъ: поколебалась моя вѣра въ грядущее возрожденіе жизни. Поколебалась моя вѣра въ народъ, ибо откуда, кромѣ него ждать то свѣтлое чудо, ту силу, которая создасть истинную жизнь?

Интеллигенція? И изъ этой среды есть избранные—но одинъ въ полѣ не воинъ. Злыхъ силъ—тьма, но если и изъ народа будутъ выходить не добрые строители, а высокомърные фразеры, себялюбивое узколюбіе, то, какъ можно жить?

Такіе предтечи родятъ только страхъ.

Въдь, ужасъ современной жизни можно принять только какъ переходную стадію къ лучшей; не будь надежды на лучшую, кто изъ понимающихъ этотъ ужасъ найдетъ въ себъ силы жить?

Никто. Броситъ страшное. «Будьте вы безконечно прокляты!»—и оборветъ свою жизнь.

Мнъ былъ нанесенъ чудовищный по силъ ударъ; ударъ, который могъ бы убить меня сразу, если бы... если бы около меня не было маленькой женщины!

Я переживаль потрясеніе— такое душевное потрясеніе, которое переживается годами, только потому, что со мной переживала его маленькая женщина.

Ко мнѣ шло то ужасающее безуміе, когда человѣкъ чувствуетъ себя, что онъ на землѣ одинъ, и не раздавило меня, ибо маленькая женщина умѣла давать мнѣ чувствовать, что насъ двое, а по временамъ и зажигала во мнѣ порывъ, короткій, скоропотухающій, но порывъ:

— О, мы еще поборемся!

(Продолжение въ книгъ второй).

Р. S... Я прошу читателя не дёлать скороспівлыхь заключеній о Горькомъ. Должент сказать, что изо всёхъ людей, съ которыми я столкнулся въ литературів и внів ея—изо всёхъ этихъ людей Горькій одинъ изъ лучшихъ. Правда, онъ меня бросилъ, какъ и многіе другіе, но изо всёхъ этихъ многихъ онъ мнів и помогъ и научилъ меня больше, чёмъ кто либо.

Если, читатель, вамъ кажется, что я осуждаю это будетъ заблужденіемъ: я разсказываю исторію своей души такъ, какъ она реагировала. И для читателя полезно здѣсь только то: принять во вниманіе вообще душу человѣка, т. е. быть къ загнаннымъ жизнью почеловѣчнѣе.

А осуждать? Осуждать, читатель, погодите, ибо сказано: «Лицемъръ! вынь прежде бревно изъ своего глаза, и тогда увидишь, какъ вынуть сучекъ изъ глаза брата твоего».



II. Отдълъ художественной критики.

- Фридрихъ Куммеръ. О смѣнѣ литературныхъ поколѣній и литературн. кумировъ. Перев. подъ ред. и съ предисл. П. С. Когана. Ц. 25 коп.
- В. М. Фриче. Отъ Чернышевскаго къ «Въхамъ». Цъна 40 коп.
- В. М. Фриче. Торжество пола и гибель цивилизаціи. (По поводу книги Вейнингера «Полъ и характеръ»). Цъна 55 коп.

Людвигь Зерингь. Метерлинкъ, какъ философъ и поэтъ. Цъна 60 коп.

Метерлинкъ, какъ философъ внутренней жизни.— Міросозерцаніе Метерлинка.— Стихотворенія и первыя драмы.— Драмы философа жизни.—Метерлинкъ, какъ теоретикъ искусства.

Книга Зеринга прочтется съ большимъ интересомъ русскими поклонниками Метерлинка, тъмъ болъе, что наша критическая литература о немъ совсъмъ не велика.

(«Одесское Обозрѣніе»).

Гальфданъ Лангаардъ. Оскаръ Уайльдъ. Его жизнь и литературная дъятельность. 2-ое изданіе. Цъна 40 коп.

Предлагаемая книга стремится дать возможно болье полное изображение захватывающей по своей трагичности жизненной судьбы Оскара Уайльда. До сихъ поръ въ литературъ ньть всеобъемлющей картины личности поэта во всемь его величи и слабости, и эта книга вызоветь, несомивнию, къ нему интересъ во всёхъ слояхъ нашего общества.

Германъ Эссвейнъ. Августъ Стриндбергъ. Опытъ психологической характеристики. Ц. 40 к.

Критическій очеркь Эссвейна можеть быть прочитань съ пользою всёми, кто интересуется эволюціей творчества Стриндберга. («Р;сскія Вёдомости»). **АВГУСТЪ СТРИНДБЕРГЪ**ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНТИ.
При ближ. уч. М. и Е. Благовъщенскихъ, Зин. Венгеровой, Ю. А. Веселовскаго и В. М. Фриче.

Туставъ афъ-Гейерстам полное собрание сочинений. Полное собрание сочинений. При ближайшемъ участи М. и Е. Благовъщенскихъ и Ю. А. Веселовскаго.

Бьеристьерне-Бьерисонъ.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ. При ближайшемъ участіи М. и Е. Благов'єщенскихъ Ю. А. Веселовскаго и А. и П. Ганзенъ.

Бернаръ-Шоуполное собрание сочинений.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ.
При ближ. участін Виктора Гофмана и В. М. Фриче.

Томасъ Маннъ полное собрание сочинений.

Поломъ Алейхемъ. СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ. Авторизованный переводъ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ. Авторизованный переводъ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ. Авторизованный переводъ.

Владиславъ Реймонтъ полное Собраніе Сочиненій. Авторизованный переводъ.

Германъ Бангъполное собраніе сочиненій.

Томасъ Гарди.

полное собрание сочинений.

Бласко И баньесъ полное собраніє сочиненій. При ближайшемъ участій З. Венгеровой, М. Ватсонъ В. М. Шулятикова и др.